

# Абрам Терц

рассказы



ImWerdenVerlag

München — Москва

2008

© А. Д. Сиявский (наследники). Текст печатается по изданию: Цена метафоры или преступление и наказание Сиявского и Даниэля. Москва. Книга. 1989.

© <http://imwerden.de> — некоммерческое электронное издание, 2008. OCR – Александр Продан

## В ЦИРКЕ

...Снова грохнула музыка, зажегся ослепительный свет, и две сестры-акробатки, сильные, как медведи, изобразили трюк под названием «акробатический танец». Они ездили друг на друге в стоячем и в перевернутом виде, вдавливая красные каблук в свои мясистые плечи, и руками, толщиной в ногу, и ногами, толщиной в туловище, выделяли всевозможные редкостные упражнения. От их чудовищно распахнутых тел шел пар.

Потом на арену выпрыгнуло целое семейство жонглеров в составе мужа с женою и четырех детенышей. Они устроили в воздухе жуткую циркуляцию, а папаша, их воспитавший, самый главный жонглер, скосил глаза к переносью и воткнул в рот палку с никелированным диском, а на нее поставил бутылку с этикеткой от жигулевского пива, а на бутылку — стакан и сверху того: зонтик — во-первых, блюдо — во-вторых, а на блюде — два графина с настоящей водою — в-третьих. Наверное, с полминуты, держал он все это в зубах и ничего не уронил.

Но всех превзошел артист, именуемый Манипулятор, интеллигентный такой господинчик заграничной наружности. Был он жгучий брюнет и обладал столь гладким пробором, точно выгравировали ему плешь по линейке электрической бритвой. А пониже — усы и все что полагается: галстучек, лаковые полуботинки.

Подходит с невинным видом к одной даме и вытаскивает у нее из-под шляпки настоящую белую мышь. Потом — вторую, третью и так — девять штук. Дама — в обморок. Говорит: «Ах, ах, я больше не в силах!» и требует для успокоения — воды.

Тогда он подбегает к ее кавалеру справа и хватает его за нос — осторожно, двумя пальчиками, как парикмахер. А незанятой левой рукою достает из кармана рюмку и поднимает кверху, на свет, чтобы все могли убедиться в неподдельной ее пустоте. Потом резким жестом сжимает нос кавалеру, и оттуда льется в рюмку золотистый напиток — газированный, с сиропом. И ничего не разбрызгав, подносит учтиво даме, которая пьет с наслаждением и говорит «мерси», и все вокруг смеются и хлопают от восторга в ладоши.

Как только публика стихла, Манипулятор, воротясь на арену, спросил грубым голосом у того самого, кому выпустил воду:

— Отвечайте, гражданин, побыстрее, который час на ваших часах?

Тот хватя себя за жилетку, а там ничего нет, а Манипулятор слегка поднапрягся и выплюнул ему на арену его золотые часики. А потом тем же порядком вернул разным гражданам — кому бумажник, кому портсигар, а кому, так себе, мелочь какую-нибудь: перочинный ножик, расческу — все что сумел вы-

нуть из них за время представления. У одного старика он даже похитил сберкнижку и деликатный дамский предмет — из внутреннего потайного кармана. И все вернул по назначению под общие аплодисменты: такой был артист!

Когда все кончилось и публика начала расходиться, Косте стало обидно, что он ничего не умеет: ни ходить колесом по орбите, ни кататься на велосипеде раком — руки чтоб на педалях, а ногами чтоб держаться за руль и управлять в разные стороны. Он даже не смог бы, наверное, без предварительной практики так подбросить кепку, чтобы она сделала сальто и сама села на череп. Единственное, что Костя умел, — это сунуть в рот папироску задом наперед и не обжечься, но спокойно выпускать дым из отверстия, как паровоз или же паропровод из трубы.

Но эту нетрудную штуку знал теперь любой школьник, а Косте шел двадцать шестой год и ему все надоело: целыми днями лазай по стенам, как сумасшедший, да вывинчивай перегоревшие пробки, не имея в жизни других удовольствий кроме кинофильмов и девочек.

Он встал и двинулся к выходу той решительной, упругой походкой, какою ходят во всем мире лишь фокусники и акробаты.

Случай представился сразу, и это был мужчина что надо: в шубе на меху, растегнутой по всему фасаду. Запрудив центральную дверь широченной своей фигурой, он говорил кому-то — неизвестно кому:

— Настоящую акробатку полагается видеть раздетой. И не в цирке, а на квартире, на скатерти, посреди ананасов...

Его глаза, устремленные вдаль, голубые, с зелеными искрами, не обращали на Костю ни малейшего внимания. А тот вдруг возьми да застрянь в самом ответственном месте — в дверях, на многолюдном потоке, как раз напротив. Они толкали друг друга и в результате так перепутались, что трудно было бы отличить, где тут Костин клиент, а где Костя. А шуба еще энергичнее распахнула свою пушистую внутренность, и грудастый, двубортный пиджак сам собою раскрылся, и все это произошло — как фокус, без человеческого вмешательства...

Дыханье мое замирает, а пульс переселяется в пальцы. Они тихонечко тикают в такт с огибаемым сердцем, которое ходит в чужой груди, возле внутреннего кармана, и методично вспрыгивает ко мне на ладонь, не подозревая подмены, не догадываясь о моем волнующем, потустороннем присутствии. И вот одним взмахом руки я делаю чудо: толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под рубахой. «Деньги ваши — стали наши», — как поется в песне, и в этом сказочном превращении — весь фокус.

Они согреты твоим теплом, дорогой товарищ, и пахнут нежно и духовито, как девичья шея. А ты, ничего не имея, все еще ими гордишься, и топыришь пустую грудь, рассказывая про акробатку, и смеешься, предвкушая, но ты смеешься и предвкушаешь напрасно. Потому что я вместо тебя поеду на такси «Победа» в ресторан «Киев», и скушаю твои сардинки, и выпью все коньяки, и буду целовать вместо тебя твоих женщин — на твой собственный счет, но в полное мое удовольствие. Я не стану скупиться и, коли встретимся мы в ресторане, я напою тебя допьяна и накормлю до отвала — той самой пищей, которую ты не

сумел вовремя и самостоятельно съесть. И ты еще будешь мне благодарен за это, смею тебя уверить. Ты подумаешь, что я писатель какой-нибудь, артист, заслуженный мастер спорта. А я есть не кто иной, как фокусник-манипулятор. Будем знакомы. Привет!

На улице, в темноте, Константин поднял воротник и только тогда привел в движение лицевую мускулатуру. Она с трудом подчинялась ему и была будто резиновая: ударь кулаком — отсканет. Но Константин манипулировал ртом по направлению к ушам и обратно, пока не вернул всему лицу первоначальную мягкость. Тогда он закурил папироску, сунул ее горящим концом в рот и пошел, пуская дым из трубы, к ближайшей автомобильной стоянке.

С тех пор у Константина Петровича началась новая жизнь. Заходит он между делом в ресторан «Киев», и едва переступает порог, уже бегут — из глубины — напояженные официанты, восклицая отрывистыми голосами, наподобие ружейных выстрелов:

— Жалст! Жалст! Жалст!

У каждого над головою поднос, который непрерывно вращается, а там разные вина — красное и белое, или есть еще такое: «Розовый мускат». Одним словом — вся гамма к вашим, Константин Петрович, услугам.

— Нет, — говорит Константин Петрович усталым голосом и отстраняет их вежливо ручкой, — я решительно воздерживаюсь... Плохо себя чувствую и ничего мне в жизни не надо. А давайте мне водки — белая головка — 275 грамм и микроскопический бутербродик из атлантической сельди. Только хлеба черного в бутербродик тот не кладите, а кладите батон с изюмом, да чтобы изюм пожирнее.

И сейчас же официанты — в количестве трех человек — откупоривают цветные бутылки и щелкают салфетками в воздухе, полируя бокалы и рюмки до полного зеркального блеска и обмахивая попутно пылинки с узконосых своих штиблет.

А как выпьешь для порядка 275 грамм, все чувства в твоей душе обостряются до крайности. Ты явственно различаешь и склизкий скрежет ножей, от которого ноют зубы и передергивается спинномозговая спираль, и колокольный звон стекла, пригубленного на разных уровнях, и монотонный мужской припев: «Будем здоровы! С приездом! За встречу! С приездом!» — и вопросительное хотение женщин, которые чего-то ждут, беспрестанно вертя головами, и охорашиваются нервозно, как перед свадьбой.

В мимике официантов проглядывает обезьянья сноровка. Они прыгают между кадками с пальмами, растущими повсюду, как в Африке, и перекидываются жестяными судками с дымящимися борщами, или, изогнувшись над столиком, точно над бильярдом, разливают все что хотите в стаканы — падающим, коротким движением.

Когда вся картина подгулявшего ресторана открывалась внезапно и выпукло взору Константина Петровича, он ощущал в глубине души — где-то в серд-

цевине хребта — сладкий, пронзительный, шевелящий волосы трепет. Будто идет он по проволоке на высоте четыреста метров и, хотя стены качаются, грозя обвалом, он идет упругим и легким, соразмеренным шагом, ровно-ровно по прямой. А публика смотрит во все глаза, затаив дыхание, и надеется на тебя, как на Бога: — Костя, не выдай! Константин Петрович, не подкачай, покажи им, где раки зимуют!

И ты должен, непременно должен что-то им показать: сальто-мортале какое-нибудь, или удивительный фокус, или просто найти и высказать какое-то слово — единственное в жизни, — после которого весь мир встанет вверх дном и перейдет во мгновение ока в сверхъестественное состояние. Сердце колотится в груди, как птичка в клетке, душа разрывается на части от любви и жалости, а ты подливаешь и подливаешь ей вина, чтобы продлить терзание, пока, наконец, не поднимешься в полный рост с запакощенного паркета и не гаркнешь на всю Европу:

— Ах, ты! Мать твою так — распротак — так!

После чего Константин Петрович имели привычку стихать, а стихнув, приглашали за столик всякого, кто пожелает, — для бесплатного угощения и душевной беседы. Чаше других к нему присаживался один печальный мужчина, немолодой и скромно одетый, между прочим еврейской нации, хотя алкоголик, сохранявший на исхудалой груди в знак высшего образования благородную бабочку синего цвета. Звали его Соломон, а помещался он в темном углу, под пальмой, терпеливо поджидая вакансии, ибо деньгами не располагал и пускали его посидеть в ресторане главным образом за культурную внешность.

— Так вот, Соломон Моисеевич, как вы человек образованный, а я четвертого класса полностью не закончил, отвечайте без промедлений: в чем вся суть? И чтобы в едином слове эту самую суть — заключить...

Соломон морщил брови, припоминая все науки, которым он обучался в различных учебных заведениях.

— Суть явления... явления... представление... — говорил он с запинкой и не мог больше вспомнить ни шиша.

Тогда Константин Петрович, чтобы разохотить к беседе, подносил ему бокальчик, но не более как 150 грамм, а то потеряет Соломон Моисеевич свой человеческий облик и не сможет составить компании для сердечного разговора.

— Ну, ладно, ладно — выпил и потерпи! Поговори со мною как человек с человеком. Отвечай: почему я жулик и пьяница, а не стыдно мне в жизни ни сколько? Нет, ты скажи, зачем русский человек всегда украсть норовит? Украсть или выпить? Откуда такая потребность души у русского человека?..

На это Соломон Моисеевич знал научный ответ и, застенчиво кусая огурчик, заходил в изыскании первопричин аж до татарского ига, откуда повелись на русской земле и кабак и тюрьма: все благодаря культурной отсталости.

— Вот в Англии вы, Константин Петрович, были бы изобретателем... Или депутатом парламента... министром без портфеля...

Его кадык, непропорционально развитый, сновал по отощавшему горлу, а глаза бросали на потолок тоскливые, чужестранные взгляды. Но проникнуть в

самый корень жизни он все равно не умел. Да разве может Соломон Моисеевич понять русскую душу?! И хотя был он алкоголиком по собственным национальным причинам, какую Англию или Бельгию мог предложить он взамен и какую такую свободу печати? — тоже неизвестно...

— А я возьму и обворую твое британское казначейство! И все пропью, проиграю до нитки! Душа-то, душа для чего мне дана?! Я тебя про душу пытаю, иудина твоя порода, а ты мне взамен души хер собачачий подносишь!..

Но никогда не бил его Константин Петрович, а наоборот — угощал дополнительно, во второй раз и в третий, и все за то, что обладал Соломон способностями к разговору. Другой налижется на твои деньги, да тебе же норовит свою биографию рассказать по порядку. Ты и словечка не вставишь. А этот, когда надо, и поспорит, и в раздумье кинется, а когда — сидит и сочувственно помалкивает.

Бывало, расстроится Константин Петрович и — в слезы, и так уж плачет, так рыдает, никак уняться не хочет. И все говорит про свою несчастную жизнь, и вспоминает про свою старую маму, которая — в трех шагах отсюда — на железной кровати лежит и с голоду помирает, а он, подлец, вместо того, чтобы к ней бежать и средства на излечение немедля маме принести, торчит здесь и все денежки, до последней копейки, с последней шпаной пропивает.

Слушает, слушает его Соломон Моисеевич, да только молча вздохнет. И хотя знал он достоверно, что нет никакой мамы у Константина Петровича и все это одна игра ума, изобретенная для усугубления грусти, никогда не разубеждал он его, потому что тоже, значит, был человеком и понимал, что всякому человеку тоже хочется себя подлецом обозвать. А когда принимался Константин Петрович от грустных переживаний икать и биться головкой об стол, и об ступ, и обо что попало, брал он тогда его нежно за плечико и говорил:

— Не кручиньтесь, Костя. Давайте-ка лучше выпьем. И давайте поскорей перейдем к менее печальным предметам. Например, мы давно не говорили о Боге. Как вы считаете — Бог есть?

От этой Соломоновой шутки переставал Костя плакать и начинал постепенно смеяться, понимая тонкий намек, что нет на свете ни богов, ни чертей, хотя было бы очень весело, если бы они были.

Ему случалось заглядывать в церковь. Любил он всякие чудеса, нарисованные на потолке и на стенах в акробатических видах. Особенно ему нравилось, когда один фокусник нарядился покойником, а потом выскочил из гроба и всех удивил. А другой — между прочим, той же нации, что Соломон Моисеевич, — предательски донес на него, но фокусника не поймали, а поймали того самого иуду-предателя и живьем прибили гвоздями к церковному кресту...

Слушая эти истории, Соломон Моисеевич радовался и все повторял с восхищением, что церковь происходит от цирка и что русскому народу всего главнее — фокусы и чудеса.

Но больше церкви любил Константин Петрович ходить в Сандуновские бани, в семейные номера. Туда одних женатых пускают и в доказательство требуют паспорт, а у него по счастливой случайности там приятель имелся из об-

служивающего персонала — инвалид Отечественной войны, Лешкой звать, — и так все Лешка устраивал, что мойся хоть с генеральшей, только чтобы без драки.

Благодаря такому знакомству мылся Константин Петрович по холостяцкому делу с Тамарой, и такие они номера в этих номерах вытворяли, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кому ни рассказывай — никто не верит. Хотя всякий завидует.

— Поиграем, что ли? — спрашивал он Тамару, запирая дверь на защелку.

— Поиграем, — говорила Тамара обыкновенным голосом, а спинкой так и вильнет.

И скинув одежду — до самых последних кальсон включительно, — начинали они показывать разные редкие штуки. Константин Петрович вешал себе интересным способом шайку промежду ног и барабанил в нее, как в барабан, а Тамара плясала народные танцы. Малиновая, запыхавшаяся, покрытая серебряной пеной, она скакала по бане, в которой было жарко, как в Африке, а он, гремя железом, гонялся за нею, и были они похожи на чертей в адской парилке, а также на краснокожих индейцев, которые действительно существуют и ходят нагишом, никого не стесняясь.

Когда же Тамаре наскучивало попусту красоваться, Константин Петрович изобретал другие развлечения. То холодной водицей окатит. То взамен поцелуя накормит Тамару мылом, а с другого конца для потехи употребит указательный палец или химический карандаш воткнет в виде сюрприза.

Все позволяла ему любящая Тамара. Лишь одного не велела делать: это смеяться не к месту — когда играющие входили в азарт и принимались функционировать друг с другом со страшной силой.

В эти минуты Константина Петровича разбирал смех. Но Тамара, кусая губу, грозила розовыми глазами. Ее лицо, горячее, темное, казалось ожесточенным.

— Молчи! — шептала она. — Молчи! не смей смеяться! Потом, отвалившись набок, она вновь бывала доступной и первой хохотала надо всем, что произошло. Перед тем и после того — смейся сколько влезет, а во время этого — не моги.

— Это — грех, большой грех! — твердила убежденно Тамара. Объяснить же свои капризы не могла.

— Да! да! Это — так! — кричал Соломон Моисеевич, систематически хмелевший по ходу рассказа. К концу любовных затей Константина Петровича он бывал порядочно пьян.

— Грех! Не переступи! — кричал он, воодушевляясь. — В игре нет преград! Не убий! Не убий! Бог! Дьявол! «Смейся, паяц, над разбитой любовью...»

Точно сорвавшись с цепи, он говорил бессмысленно и много о загадочном русском характере — теребя исполинский кадык, о загадочной женской натуре — ужасно волнуясь. Всем было известно, что три года назад от Соломона убежала жена — блудливая русская баба, предварительно обокрав его, а потом опозорив с парикмахером Геннадием шестнадцати лет. Он знал и боялся жен-



щин, имея на то основания. Но что он мог понимать в русском национальном характере, этот Соломон Моисеевич?!

У Лешки, инвалида войны, была ценная поговорка: «Минер ошибается только раз». Сам он, Лешка, испытал на опыте ее народную меткость: фашистская мина под Берлином оторвала ему правую руку.

Но допущенная ошибка и невозвратимая эта утрата не научили его ничему хорошему, и вот однажды безрукий Лешка говорит Косте:

— Знаешь ли ты, Костя, или нет, что есть у меня персональная квартирка из трех комнат с балконом и со всеми удобствами? Хозяин третьего дня отбыл в командировку в город Таллин, а хозяйка проживает на даче со своим сыном Вовочкой, который от рождения страдает рахитом и потому должен регулярно дышать свежим воздухом. А няня Вовочкина, приспособленная для охраны имущества, как осталась одна, до рассвета гуляет с ребятами из трамвайного парка, и почему бы ей не пойти к трамваям в ночную смену сегодня, как ты считаешь?

— Я прекрасно понимаю вашу внешнюю политику, — говорит Костя, — но только вы меня трактуете очень уж вульгарно. Я имею дело с живыми существами, а залезать в закрытые окна неизвестно на каком этаже — не в моих правилах. И вообще, стоящее ли это занятие — твоя квартирка с балконом? Принес бы ты мне лучше жигулевского пива в номер.

— Перестань ломаться, Костя, и не строй из себя артиста, — говорит ему Лешка раздраженным тоном.. — И не лапай при мне Тамару сразу двумя руками. Это становится даже неприличным. Надевай штаны и давай думать. Минер ошибается только один раз.

Так они говорили до позднего вечера, а когда закрылись Сандуновские бани, взяли они Соломона Моисеевича, чтобы стоял на шухере, и заграничный браунинг на всякий пожарный случай, унесенный Лешкой с поля сражения во время Великой Отечественной войны, и пошли, не мешкая, к тому месту, где была припасена для них квартирка со всеми удобствами.

Она стоит на втором этаже, трехкомнатная квартирка, набитая до верху дорогим барахлом — габардином да трикотажем, и двумя костюмчиками иностранной работы, и одним кожаным пальто шоколадного цвета по имени «реглан», — стоит и смеется. Все двери, окошки и даже форточки в ней заперты на двойные запоры, и никакой дырки или хотя бы щелки в наличии не имеется. Возникает естественный вопрос: как туда проникнуть?

Вы, конечно, удивляетесь безвыходной этой картине, и рвете на себе волосы, и готовы сдуру банальным путем действовать через окно с невероятным шумом и треском? Вот и нет, не угадали, и вам в жизни не разрешить эту задачу.

Но есть на свете, говоря по секрету, один инструмент, по-русски — «отмычка». С нею вам не страшна любая дверь. А для всяких замков — коллекция ключей на все уровни жизни.

А тишина такая, братцы, кругом, что плакать хочется.

— Задерни шторы, а то снаружи видать, — приказал Константин однорукому Лешке и поиграл револьвером.

— Регланчик достанется мне и тросточка тоже мне!

Ему понравился набалдашник у трости, разделенный на две половинки — по образцу филейных частей, но в меньшем масштабе. Ходишь с тросточкой по панели и непрерывно набалдашник ошупываешь, и можно девушкам показывать — для смеху и смущения — при первом знакомстве. Такую вещь обязательно надо иметь при себе — и в доме, и на прогулке.

Вдруг чувствует Костя: в соседней комнате кто-то неожиданно спит. Он — туда и видит в постели — кого бы вы думали? хозяйку? — нет! хозяйина? — тоже нет! спящую няньку в одной сорочке? — это было бы хорошо, но все равно — нет! и еще раз нет! и вы опять просчитались! — он видит небезызвестного вам господинчика с приятными усиками, но без галстука и без пробора. Впрочем, пробор в состоянии тряпки висел отдельно на спинке стула, а рядом покоились в полном порядке лаковые полуботинки, а больше здесь не было ни единой души.

Самый настоящий Манипулятор из настоящего цирка храпел во все горло на хозяйской кровати или делал вид, что храпит, а сам приготавлился к прыжку.

Как впоследствии оказалось, Манипулятор — на свою лысую голову — сбежал накануне к другу детства, чтобы отдохнуть от семьи, но вместо этого угодил под ночную манипуляцию Кости — к их взаимному неудовольствию и трагическому концу.

Но ничего этого Костя не знал в тот кульминационный момент и был очень разочарован внезапным появлением гостя, о чьей магической ловкости он имел представление, посещая государственный цирк каждый воскресный день. Этот чортов фокусник мог бы голыми руками кого хотите обездолить и что хотите украсть, и Костя наставил огнестрельное оружие на своего наставника, чтобы тот не вздумал, если проснется, выкинуть какой-нибудь трюк.

— Шуруй потише в комод, — приказал он шепотом Лешке. — Да помни: тросточку с изображением задницы я забираю себе.

И от этих ли слов или от чего другого Манипулятор открыл глаза и сделал их вот такими, и не успел Костя предупредить его — «Спокойно! а то застрелю!», как он закричал в полный голос, звучавший очень противно:

— Караул! Убивают!

Мужчины в большинстве случаев под наведенным на них револьвером поднимают руки кверху и с зачарованным видом молчат. А женщины — вопреки рассудку — визжат и барахтаются и, бывает, кусаются, но им тоже можно по-свойски втолковать ситуацию, и они ради продолжения жизни будут плакать в подушку.

Но на сей раз Косте встретился сущий злодей, не обращавший никакого внимания на дуло заграничного браунинга. С глазами на обе щеки, он сполз на пол с кровати и, как был, в сплошном опупении, в неприглядном своем есте-

стве, сиганул к двери балкона. Стекло разлетелось вдребезги, и на всю улицу, над умиротворенными крышами, прокатилось многократное эхо:

— Караул! Караул! Убивают!

И чтобы прекратить безобразный и действующий на нервы скандал, Костя, почти плача, выстрелил ему в спину между малокровными лопатками, и в том была его — Кости — роковая ошибка, а минер, как известно, товарищи, ошибается только раз. Потому что, если по существу разобраться, нужно было бы не стрелять, не испускать опасные звуки, а дать Манипулятору в голое темя каким-нибудь веским предметом, например, рукояткой и, оглушив крикуна, без лишнего шума продолжить осмотр помещения.

А Костя, вместо того чтобы решительно действовать, надавил слегка пальчиком спусковую пружину, и немецкая злая пружина сама собою сработала — только и всего. Только и всего, но сразу Манипулятор заметно притих. Он больше не кричал, он булькал губами и дудел, и клокотал в горловину, изображая с большой тщательностью протяжные хриплые трели — сложное искусство полоскания рта на высоких и низких регистрах.

Спервоначально казалось, что, покривлявшись для форсу, он сядет на полу и отхаркается, и заявит во всеуслышание, что обманул их ради испуга. Но, видно, этот артист давал гастроли навывнос и, вдохновленный выстрелом Кости, разыгрывал коронную роль, превращаясь чудесным образом в мертвого человека, сознающего свое превосходство над оставшимися в живых. Его лицо удалялось с плавностью парусной лодки, приобретая природную гордость камня и отвердевшей воды. Он умер незаметно, даже не подмигнув на прощание и оставляя, Костю в растерянности перед содеянным фокусом, который в равной мере принадлежал им обоим.

Это зрелище было испорчено появлением Соломона Моисеевича. Он честно стоял на шухере в темном сыром подъезде, а теперь прибежал в квартиру, задыхаясь от гипертонии, чтобы сообщить товарищам о грозящей опасности со стороны разбуженных дворников и недремлющих милиционеров.

— Зачем вы устроили шум, Константин Петрович? — сказал он в глубокой тоске, ничего не видя вокруг. — Я же предупреждал: надо быть осторожным. Пистолет может выстрелить безо всякого нажатия курка — от обычного колебания воздуха...

Костя не стал спорить... В дверях два дюжих дворника крутили за спину Лешке единственную левую руку. Лешка отбивался ногами и говорил:

— Пустите, гады!

Понимая, что сопротивляться бесцельно, Костя поднял руки, но все же не мог отказаться от маленького удовольствия: все заряды, сидевшие в браунинге, он пульнул в потолок и тем оставил по себе веселую, добрую память. Милиционеры попадали на пол, а потом кинулись к Косте и скоренько его разоружили. Так была загублена в расцвете красоты и здоровья молодая жизнь Константина Петровича.

Правда, перед грустным финалом он имел хороший парад при большом стечении публики, на суде. Прокурор ему попался строгий, как полагается, и

требовал для Константина Петровича высшей меры наказания через настоящий расстрел. А защитник, тоже не лыком шитый, всячески упирал на смягчающее слабоумие подсудимого. Все взгляды мужчин и женщин были прикованы к Константину Петровичу, и, стоя в центре арены, он испытал много чудных мгновений, щекотавших его ревнивое артистическое самолюбие.

Суд приговорил Константина Петровича к двадцати годам заключения с конфискацией имущества, движимого и недвижимого. Но регланчик и заветную тросточку он утратил значительно раньше и теперь, увильнув от расстрела, не слишком тужил по поводу предстоящего срока.

А Лешка и Соломон Моисеевич получили по десятке на каждого.

В строю таких же, как он, обиженных судьбою людей, Костя шел не спеша на работу в одно прекрасное утро. Они держали руки сложенными за спиной в знак потерянной воли и вынужденной покорности. Вокруг порхали птички, свободные обитатели края, одуряюще пахли цветы, травы, кусты. Всюду летали прозрачные и легкие одуванчики. По бокам, спотыкаясь от скуки и собственной никчемности, брел небольшой конвой, куря большие сигарки.

Вдруг на фоне этого мирного пейзажа произошло смятение. Старик-охранник, бросив недокуренный тубик, завопил испуганным голосом:

— Стой! Стой! Застрелю!

Но Костя уже летел над буторками и кочками, отталкиваясь от мягкой земли жилистыми ногами. Ветер преспокойно играл у него на оживленном лице. Вдалеке лиловел лес — вечное прибежище соловьев-разбойников.

Косте виднелось пространство, залитое электрическим светом с километрами растянутой проволоки под куполом всемирного цирка. И чем дальше он улетал от первоначальной точки разбега, тем радостнее и тревожнее делалось у него на душе. Им овладело чувство близкое вдохновению, когда каждая жилка играет и резвится и, резвясь, поджидает прилива той посторонней и великодушной сверхъестественной силы, которая кинет тебя на воздух в могущественном прыжке, самом высоком и самом легком в твоей легковесной жизни.

Все ближе, ближе... Вот сейчас кинет... сейчас он им покажет...

Костя прыгнул, перевернулся и, сделав долгожданное сальто, упал на землю лицом, простреленной головой вперед.

## ТЫ И Я

*И остался Иаков один. И боролся  
некто с ним, до появления зари...  
Бытие, XXXII, 24*

### 1

С самого начала эта история имела странный оттенок. Под предлогом серебряной свадьбы Граубе, Генрих Иванович, пригласил к себе на квартиру четырех сослуживцев и тебя в том числе, причем тебя в тот вечер он звал так настоятельно, как будто твое присутствие было главной заботой сборища.

— Если вы не придете, я смертельно обижусь! — сказал он с ударением и навел на тебя глаза, подобные выпуклым линзам.

Там гипнотически вздрагивали ледянистые икринки зрачков.

Понимая, что нельзя преждевременно выказывать свои подозрения, иначе он догадается и примет меры, тобою не учтенные и наверняка еще более хитростные, ты вежливо согласился. Ты даже поздравил Граубе с фиктивным его юбилеем. Для каких целей он тебя зазывал, было неизвестно, но сердце твое сжалось от дурного предчувствия.

Действительно: едва ты вошел — гости повскакали со стульев, на которых они притаились в ожидании твоего появления. Два твоих сослуживца — Лобзиков и Полянский — обрадованно перемигнулись.

— Вот и он!

— Пора начинать!!

Тем самым они обнаружили свои коварные умыслы, и хозяин, Генрих Иванович, чтобы запутать следы, был вынужден дать сигнал всем садиться за стол. Но ты и вида не показал, что придаешь значение угрожающей фразе — «Пора начинать!!» Как будто в ней, в этой фразе, оброненной подручными Граубе, не заключалось ничего подозрительного, а всего лишь невинный свадебный план: выпивать и закусывать.

— Поднимем наши рюмки! — воскликнул ты очень громко и по возможности весело. — Пусть за серебряной свадьбой воспоследует золотая! Ура!!

Все подняли рюмки и чокнулись, а ты, учтя обстановку, выплеснул водку под стол — в тот благоприятный момент, когда они, закатив глаза, тянули жидкость в честь Генриха Ивановича Граубе и его мнимой супруги.

Да! в этой компании жена и хозяйка дома была ни тем и ни другим, а подставной фигурой. Скорее всего это был переодетый мужчина. Его тщательно вымыли, напудрили, припомадили и теперь выпускали за даму с двадцатипятилетним стажем. Именно этим фактом объяснялась брезгливая мина, с какою Генрих Иванович в знак семейного счастья поцеловал публично ее, то

бишь — его — в протянутые мускулистые губы. На какие жертвы не шли эти люди, чтобы завлечь тебя в сети и погубить!

Тут было одних бутылок — рублей на 280, не считая жареных уток, грибов, осетрины. Да еще, вероятно, к чаю были куплены ореховый торт, печенье разных жанров, конфеты — на худой конец — фруктовые, по двадцать два рубля, дешевле не обошлось. А масло? сахарок? хлебные изделия?..

Итого восемь сотен по меньшей мере уплачено. Или — десять тысяч, если принять во внимание, что мужчинам, исполняющим дамские функции (у Лобзикова и Полянского жены тоже наверняка подложные), потребовались туалеты и всякие душистые специи, хотя белье на них — свое, казенное, а может — опять покупное, колоритное, в кружевах: для полного правдоподобия — если придется кокетничать...

И вся эта крупная сумма в размере пятнадцати тысяч была вынута из банков ради тебя одного. Ты отчасти гордился, подсчитывая расходы, но помнил ежеминутно, что дело твое плохо, раз уж смета утверждена и финансы отмуслены.

Гости стремительно ели, стуча ножами и вилками, и при помощи этих звуков поддерживали тайную связь на зашифрованном коде, вроде азбуки Морзе. «Пора начинать! Пора начинать!» — выстукивал нетерпеливый Полянский, который с давней поры тебя невзлюбил, потому что начальство по указанию свыше повысило тебе ставку, а ему — нет, и правильно сделало.

А Лобзиков — приятель Полянского по пословице «два сапога пара и рука руку моет» — захватил в обе руки большую порцию утки и выкусил ей бок, намекая своим поступком, что аналогичный конец в иносказательном смысле постигнет и тебя. При этом известии гости, чмокнув сальными ртами, дружно ударили ножами в тарелки: «Постигнет! Постигнет!» Но Генрих Иванович Граубе, сидевший во главе заговорщиков, покачал слегка головой и пригубил задумчиво рюмку, в которой еще светилась недопитая жидкость. Тем самым давалось понять, что надо с полчаса выждать, пока ты захмелеешь как следует и перестанешь все замечать.

Тогда Вера Ивановна Граубе, вернее сказать — мужчина, загримированный под Веру Ивановну, обратился к тебе со словами, звучащими очень прозрачно:

— Почему наш скромный друг вовсе ничего не кушает и совсем ничего не пьет?

Произнес он эту фразу тончайшим девичьим голосом, как если бы в самом деле был какой-нибудь женщиной. Virtuозная писклявость стоила ему трудов и противоречила конфигурации — боксера в тяжелом весе.

— Ах! — сказал он с чувством и едва не порвал связки. — Вы знаете, этих уток я приобрела на Ваганьковском рынке. Разве теперь в магазине найдешь порядочный стол?

При этом провокационном вопросе гости перестали жевать и уставились на тебя в нетерпении, как ты ответишь. Одно слово сочувствия — и все было бы кончено. Ушные раковины Граубе, растопыренные будто наушники с обеих сторон головы, повисли над столом. Взгляд Генриха Ивановича, снайперский, ми-

кроскопийный, рыскал по твоему лицу. В дополнение ко всему тебе внезапно почудилось, что кто-то невидимый, и всевидящий глянул в это мгновение (в окно ли, со стены или сквозь стену?) — на тебя и на всех сидящих выпрямленно перед тарелками, словно их собирались фотографировать для группового портрета.

Сознавая, что нельзя промолчать, иначе твое молчание может быть сочтено за согласие с твоей стороны, за нелегальное соучастие в имевшей место диверсии, ты посмотрел, не мигая, в скульптурную переносицу Граубе и вымолвил раздельно и четко, как только мог:

— Нет! — сказал ты. — Напрасно! Напрасно Вера Ивановна недооценивает нашу городскую и сельскую торговую сеть. Утка, курица и даже гусь, и даже редчайшая в мире птица — индейка — продается в нужном количестве во всех магазинах, сколько захочешь!

Вздых разочарования и какого-то при том облегчения пронесся по комнате. Граубе покраснел и сказал в полном расстройстве нервного аппарата:

— Судьба — индейка, жизнь — копейка...

Он пытался что-то прибавить, безусловно столь же двусмысленное. Но Лобзиков уже цыкал продырявленным зубом, и это был у них такой знак к отступлению. Гости опустили глаза — кто в блюдце, кто прямо на скатерть. А тот всевидящий глаз, который наблюдал за всеми, иронически прищурился над незадачливыми своими разведчиками и растекся желтым пятном под цвет желтых обоев, будто его и не было.

## 2

Шел снег и падал мне на ресницы, и на шапку, становившуюся от этого еще пушистее, и на крыши. Стоило прищурить веки, и между ними появлялись игрушечные снежные домики. Сквозь них лучи фонарей просвечивали со всем лучезарно, создавая какое угодно северное сияние. Оно наполняло небо, потом съезжало вниз и там понемногу оттаивало. Внезапно поле зрения расплзлось слепой распутицей, и желтая слеза, пополам с искристым снегом, вытекала из моего глаза — на нос, на фонари и на крыши, покрытые тем же снегом наподобие хижин.

Всякий раз, когда, спохватившись, я утирал варежкой очередную слезу, природа вновь удостоверяла меня, что снег еще падает и будет падать еще долго, быть может, целую вечность. Было то блаженное состояние суток, при котором никому не ясно, который теперь час, потому что небо, опадающее снегом на землю, могло спокойно сойти за день благодаря своей светлоте, а также — за ночь по обратной причине. Скорее всего было раннее зимнее утро, затянувшееся до вечера. Хотелось лечь спать, зарывшись с головой в сугроб, и проснуться, и чтобы снег еще шел, преградив течение времени.

Погода меня восхищала. Если бы я был двенадцатилетним ребенком на манер мальчика Женьки, спешащего по улице Кирова с коньками системы

«гаги» под мышкой, мне бы казалось, что дома меня поджидает елка, обтянутая золотой канителью, и книжка с картинками «Дети капитана Гранта». Такое же предвкушение тайны вызывала одна брюнетка у Николая Васильевича, бегущего под хмельком по морозцу в твердой уверенности, что она его примет в горячо натопленной комнате, как принимала дважды к обоюдному удовольствию, и почему бы — думал он — в третий раз ему вдруг сплеховать, если коньяк уже действует, а в брюнетке еще много специфической этой таинственности.

Так постепенно, сквозь сугробы и стены, в том числе сквозь спину Николая Васильевича, пронизанную электрическим светом и удаляющуюся по наклонной к брюнетке, мне представилась панорама.

Шел снег. Толстая женщина чистила зубы. Другая, тоже толстая, чистила рыбу. Третья кушала мясо. Два инженера в четыре руки играли на рояле Шопена. В родильных домах четыреста женщин одновременно рожали детей.

Умирала старуха.

Закатился гривенник под кровать. Отец, смеясь, говорил: «Ах, Коля, Коля». Николай Васильевич бежал рысцей по морозцу. Брюнетка ополаскивалась в тазу перед встречей. Шатенка надевала штаны. В пяти километрах оттуда — ее любовник, тоже почему-то Николай Васильевич, крался с чемоданом в руке по залитой кровью квартире.

Умирала старуха — не эта, иная.

Ай-я-яй, что они делали, чем занимались! Варили манную кашу. Выстрелил из ружья, не попал. Отвинчивал гайку и плакал. Женька грел щеки, зажав «гаги» под мышкой. Витрина вдребезги. Шатенка надевала штаны. Дворник сплюнул с омерзением и сказал: «Вот те на! Приехали!»

В тазу перед встречей бежал рысцей с чемоданом. Отвинчивал щеки из ружья, смеясь рожал старуху: «Вот те на! Приехали!» Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла Шопена. Но другая шатенка — семнадцатая по счету — все-таки надевала штаны.

— Весь смысл заключался в синхронности этих действий, каждое из которых не имело никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Более того, они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя на них. Им было невдомек, что каждый шаг их фиксируется и подлежит в любую минуту тщательному изучению.

Правда, кое-кто испытывал угрызения совести. Но чувствовать непрестанно, что я на них смотрю — в упор, не сводя глаз, проникновенно и бдительно, — этого они не умели. В своем заблуждении они поступали, может быть, очень естественно, но в высшей степени недальновидно...

Внезапно мой глаз наткнулся на препятствие и дрогнул, как от толчка. Это был человек, которого нельзя не заметить. На пустой, заснеженной улице он привлекал внимание тем, что то и дело оглядывался. Даже зайдя в помещение, окруженный вином и закуской, обласканный гостеприимным хозяином, он держал себя словно преступник, которого вот-вот схватят и уличат.

Ничто не угрожало ему, и я рассудил здраво, что в нем дает знать предчувствие моего присутствия. Должно быть, он уловил на себе мой острый взгляд и



корчился под ним, не понимая, в чем тут загвоздка, приписывая окружающим людям силу, не принадлежащую им. Ему казалось, что за ним кто-то персонально следит, и это был — я, а он думал — они, и это меня рассмешило. Я сосредоточился на нем, я взял его крупным планом в световое пятно зрачка. Он был как бацилла под микроскопом, и я его рассматривал во всех жалких подробностях.

Был он рыжеволос и лицо имел очень белое, нежное, не поддающееся никакому загару, лишь кое-где окрашенное выцветшими веснушками, которые, однако, сотнями усеивали его руки, переходя на фалангах в густую темную сыпь. Одет же — щеголевато, выглажен в свежую складку, в новом галстуке и в чистых носках, что при его возрасте и холостом положении служило признаком затаенной гордости, если не женолюбия.

Впрочем, последнее предположение скоро отпало. На женщин за столом он не реагировал, принимая их за мужчин. Исключение представляла разве что библиотекарша Лида, сидевшая от него справа. Он знал ее по министерству, пользуясь в тамошней библиотеке журналами «Kunststoffe» и детективами в переводах, и мог надеяться, что она не вымышленный агент, а самая что ни на есть настоящая библиотекарша Лида.

Лида была тоже девушка с фантазиями, по молодости и доброте никому не отказывающая. Генрих Иванович Граубе имел с ней мимолетный роман двухгодичной давности и теперь, из сострадания, пригласил на семейный праздник. Она много и молча пила, безучастная к происходящему.

Это не прошло мимо моего подопечного. Выплеснув под стол вторую рюмку вина, он склонился к Лиде и произнес, так чтобы все услышали:

— Лида, я вас люблю!

### 3

Ты никогда не был развратником. В любви ты предпочитал не кривить душой, не давать пустых обещаний и бездоказательных клятв, а скромно платил по таксе и 25, и 30, и, бывало, 50 рублей наличными и получал без греха, по взаимной договоренности, причитающееся тебе возмещение. Зато ни скандалов, ни судебных издержек ты по этой части не знал и, хотя Полянский говаривал, что жена ему обходится дешевле проститутки, примерно по 15-ти рублей за сеанс, ты полагал, что лучше в этом деле переплатить, чем мучиться после всю жизнь.

Если же случались денежные затруднения, ты мог существовать без ничего и месяц, и даже год, не заигрывая с чертежницами и министерскими машинистками. Пригласишь такую в кино, а после не оберешься хлопот за один паршивый щипок чуть повыше колена. С честной женщиной никогда не известно заранее, согласна она или нет, и эта необеспеченность всегда тревожит и душевно расслабляет. Лучше пусть сразу скажет «нет!» — и идет своей дорогой.

Поэтому, когда, наклонясь к Лиде, ты взялся вдруг за ней ухаживать, это было вызвано крайней необходимостью. Дстойно отразив первую атаку Граубе, ты чувствовал все же, что перевес остался на его стороне. Того и гляди вновь последует нападение, и нужно их опередить во что бы то ни стало.

Бывает же так: приходит в гости человек пожилой, серьезный, даже, например, академик, а выпьет рюмку-другую, и — смотришь — он уже хозяйское серебро в карманы укладывает или стишок интимного содержания вслух декламирует и, сидя под столом, не желает выходить на поверхность... К действиям подобного рода относятся у нас снисходительно. Ну, пожурят, посмеются, — что ж ты, Вася, сукин кот, скажут, честь мундира на пол роняешь и своим пьяным рылом на родную академию тень отбрасываешь? Но при всем при том похлопают по плечу, ободрят, поддержат. Потому сразу видно — свой парень, в гимназиях не обучался и в моральном смысле чист, как Иисус Христос. Такой военную тайну не разгласит и родине в решительный момент не изменит. Такой человек в один миг оказывается вне подозрений, и ему хорошо.

Подобная участь вызывала в тебе зависть. Ты домогался ее с помощью библиотекарши Лиды, единственной женщины, способной спасти твою репутацию. Обнаружив Лиду рядом, на расстоянии менее метра, ты воскликнул в наитии:

— Лида, я вас люблю!

Сыщики переглянулись растерянно, а Лида, не веря своим ушам, сидела неподвижно. Ее ключицы сиротливо торчали на декольтированной впалой груди. Острый приподнятый локоток походил на утиное крылышко, обглоданное до основания.

— Лида, я люблю вас! — повторил ты еще громче и обхватил ее вялыми пальцами чуть повыше колена.

— Не надо при всех! — сказала шепотом Лида и благодарно погладила твою руку, сжимающую ее ногу. Так началась ваша любовь — в игре со смертью, на глазах у преследователей, сбитых с толку твоим неожиданным темпераментом.

Ты немедленно организовал кипучую, шумную деятельность. Лучшие куски пищи ты выхватывал у гостей из-под носа и с возгласом «Это для вас!» подносил демонстративно Лиде, громоздя вокруг нее съедобную баррикаду. Параллельно тобой выкрикивались нежные имена и прозвища:

— Лидочка! Лидунчик! Леденчик! Лидястая лидидилька-фургончик!

Скосив глаз, ты видел, что все это производит впечатление.

— А мы не знали, что вы повеса, — признался с деланным смехом сыщик боксерской наружности, изображавший Веру Ивановну. — Мы всегда считали — тихоня, скромник, себе на уме...

Он был сильно оконфужен в своих расчетах и подозрениях, но все еще сохранял видимость хозяйки дома, юбилейной жены Генриха Ивановича Граубе.

— Что вы, что вы, Вера Ивановна! — возразил ты ему с живостью. — Чего скрывать? От кого скрывать? Не скрывая, во всем признаюсь: я — невероятный дон-жуир, в особенности когда захмелею.

В подтверждение этих слов ты, шатаясь как пьяный, подошел к нему вплотную и, поборов врожденную робость, потрогал осторожно одной рукою в бурых и оранжевых крапинках приделанный к его груди выпуклый камуфляж. Так ты и знал: это была всего-навсего резиновая подушка, надутая пустым воздухом.

— Да вы шутник! — пропищал испуганно сыщик и откинулся назад в кресле, должно быть, не желая до конца разоблачать свою фикцию. А ты колеблющейся походкой вернулся к Лиде и, чтобы она не ревновала, укусил ее тихонько за локоть.

— Не надо при всех, — шептала Лида в смущении. — Лучше выйдемте на минуточку, если вы так настаиваете...

Генрих Иванович позеленел от тоски по поводу сорванной провокации. Теперь-то с него непременно взыщут свадебные затраты.

— Я оскорблен как человек! — воскликнул он, обращаясь к Лобзикову и Полянскому с лицемерным возмущением в голосе.

Те беззвучно хохотали, раскачиваясь, как метрономы.

— Какой страстный мальчик! Нет, вы подумайте, какой страстный мальчик! — лепетал освидетельствованный боксер по кличке «Вера Ивановна».

Тут тебя осенила новая блестящая мысль: воспользоваться скандалом и убежать от них вместе с Лидой под видом неудержимых эмоций. Бывает же так. Порыв страсти, зов предков, борьба за женщину, Зигмунд Фрейд и Стефан Цвейг.

Как это делают пьяные, желающие впасть в амбицию, ты сказал, махая руками по всей комнате:

— Лидия, я вас похищаю. Идемте вон отсюда. Пусть эти люди без меня ведут свои разговорчики. Им будет удобнее без меня охаивать государственных уток. Что — я? Я — ничего, вполне лоялен. А вас, Генрих Иванович, вас я вижу насквозь.

И ты посмотрел ему прямо в глаза, его же собственным пронизательным взглядом, будто не ты, а он сам находился у тебя на примете.

— Да! Да! Да! Я вас вижу насквозь!..

Лида покорно собирала пожитки: сумочку, губную помаду. Козью шубейку, облезлую на две трети, ты ей подал сам. Вы ушли, хлопнув дверью перед пустоглазой физиономией Граубе, который стоял с разинутым ртом, видимо, не имея полномочий задерживать тебя силой.

Падал густой снег. Он принял тебя и Лиду в свои бесшумные толпы. Казалось, тысячи, миллионы парашютистов на белых, как снег, парашютах летят с неба и захватывают притихший город сплошным воздушным десантом. Некоторые, прежде чем приземлиться, кружились вокруг да около, выбирая местечко помягче, куда бы сесть...

Снегопад мешал тебе видеть маневры противника, который до того изловчился, что преследовал тебя по пятам, замаскированный снежной завесой. Ты же — в черном пальто — был хорошим ориентиром. У тебя имелось только одно прикрытие — Лида.

Несомненно Генрих Иванович выслал за вами опытных экспертов — проверить, чем вы будете с ней заниматься, оставшись наедине. Он был достаточно догадлив, этот Генрих Иванович, чтобы не принять за чистую монету твой поспешный роман. Поэтому, идя с Лидой по улице, ты продолжал гнуть свое и спотыкался, как пьяный, а также высказывал Лиде и всем, кто мог это слышать, разные фразы и предложения, вплоть до предложения выйти за тебя замуж.

Лида прижималась доверчиво к твоему боку и говорила себе под ноги, всхлипывая от счастья:

— Почему я раньше с вами не встретилась — в семнадцать лет, когда была совсем девушкой, но вполне созревшей?..

Но тебе не было дела ни до прошлого ее, ни до будущего. Ты принимал ее как есть, нетрезвую и влюбленную, с вытертым мехом на груди, служившей тем не менее удобной защитой твоему лицу, похудевшему от пережитых волнений. И говоря ей про любовь, ты думал с вожделием о том сладком моменте, когда ты проводишь Лиду и вернешься преспокойно домой, в изолированную квартиру, и ляжешь с легкой душой в чистую пустую постель.

Время от времени ты останавливался и, повернув Лиду вокруг оси резким, нетерпеливым движением, целовал ее в рот и в блаженно прикрытые веки. И целуя, зорко всматривался поверх ее головы, предупредительно запрокинутой, в мутноватую даль за собою, где мельтешили попеременно — мрак и снег, снег и мрак.

За вами подглядывали. Но хотя ты не мог как следует уловить выражение глаз, отовсюду на тебя устремленных, тебе хотелось гордо сказать перед всем миром:

— Что ж, смотрите, я — не боюсь! Вы же видите — я занят делом, я люблю свою Лиду и с меня взятки гладки...

#### 4

Четвертые сутки он находится в поле моего наблюдения. Я кажусь ему питоном, чей хладнокровный взгляд лишает кролика чувств. Его представления обо мне — сущий вздор. Но если даже принять за основу эти нелепые фантазии, я не знаю, кто из нас кого держит на привязи: я его или он — меня? Мы оба попали в плен, не в силах оторвать друг от друга застекленевшие взгляды. И хотя он не видит меня, из-под его белесых ресниц бьет в моем направлении такой сноп страха и ненависти, что мне хочется крикнуть: «Перестань! Не то проглочу! Стоит мне захлопнуть веки — и ты пропадешь, как муха!» Это состязание начинает меня утомлять.

— Глупец! Пойми — ты живешь и дышишь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь. Лишь будучи увиденным Богом, ты сделался человеком... Эх, ты!..

К моим дружеским уговорам он прислушиваться не желал. На все у него имелись свои резоны. Четвертые сутки он не спал, чтобы не дать себя застигнуть врасплох, и по ночам лежал на диване в состоянии боевой готовности, в пиджаке и в брюках, теперь уже изрядно помятых, в ботинках, туго зашнурованных, и тараясь в темноту.

Перед ним от напряженного всматривания возникали круги и пятна разного колера. Они представлялись ему глазами: без носов, без ушей — только одни глаза. Буркалы, зенки, гляделки, лупетки — карие, серые, голубоглазые — летали по комнате, хлопая ресницами, и пристраивались у него на груди для отдыха. Когда он приподымался, они вспархивали и парили над его головой, изредка помаргивая широко раскрытыми крыльями.

Утро не приносило спокойствия: ему казалось, что на свету он еще заметнее. Мне же, право, было без разницы — что день, что ночь. Никакие ширмы, затемнения не могли избавить меня от него...

Особенное неудобство он испытывал в клозете. Понуждаемый своей природой, которую он недолюбливал и смущался выставлять напоказ, он прикрывался газеткой, гримасничал, насвистывал арии или, желая меня заинтриговать, напускал на себя вдруг большую задумчивость — и все это с одной целью: переключить мое внимание в район своего лица и там на некоторое время удерживать. Как будто меня интересовали эти его глупости!..

От нервных мыслей, что я все вижу, моча у него не текла и мышца прямой кишки тоже не сокращалась. Мне было совестно за него, и при виде этих мучений я мучился вместе с ним из-за его бестактности.

Ах, если бы то была мания преследования, какую страдают иногда люди, высокоодаренные сознанием своей вины и очевидной ничтожности! Нет, скорее был он одержим другим недугом, именующимся в медицине «*mania grandiosa*». Вселенная имела одну заботу: лично ему досаждать. И выбегая поутру в город за хлебом, за колбасой, он все, что попадалось ему на глаза, беззастенчиво относил на свой счет.

Москва кишела подставными фигурами. Они делали вид, что не глядят в его сторону (а сами нет-нет да посмотрят исподтишка). Одни прикидывались случайными встречными и фланировали по улице с отсутствующим выражением лиц, но были почему-то все одеты единообразно, по форме, в матерчатые темные ботики. Другие — в белых маскхалатах — имели обличье мороженщиц. Никто у них никогда ничего не покупал.

Но всего отвратительнее были дома — многооконные, глазастые твари...

— Какое приятное совпадение! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы — в Москве? Вы еще не уехали? А как же ваша язва?..

Ты обернулся. Это был, конечно, Генрих Иванович, уцепивший тебя за плечо возле самого гастронома. На второй день после так называемой «свадьбы» ты взял отпуск в министерстве под видом неполадок в желудке. Со-

служивцам было объявлено, что тебе прописана Ялта, но отпуск ты, разумеется, проводил у себя взаперти. Какова же была радость этого вездесущего Граубе, когда вместо язвы и Ялты он поймал тебя на улице, с поличным, в момент короткой вылазки за провиантом!..

Пока ты подыскивал доводы затянувшемуся отъезду, Генрих Иванович приобнял тебя бесцеремонно за талию и потащил прочь с тротуара. Через пять шагов вы очутились во дворе — по всем признакам в ловушке, заваленной почему-то кучами пожелтевшего снега. Должно быть, у Граубе были на это санкции.

— Понимаю! Понимаю! Шерше ля фам. Ни о чем не спрашиваю. Бывали и мы рысаками.

Он прыгал вокруг тебя, будто норовил укусить, и грозил указательным пальцем, не выпуская из круглой ладони тяжелый министерский портфель.

— А мне, родной-дорогой, с глазу бы на глаз. Ах, проказник! Жена до сих пор с удовольствием вспоминает. Здорово мы тогда! Смеху-то было, смеху! А вы и поверили старой дуре? Ей бы уток жарить, гостей угощать, только и всего... Ведь вы пошутили — я сразу понял. «Насквозь, — говорит, — насквозь вижу!» Ха-ха-ха! ах-ах! Ах, вы, проказник! Хотите на колени встану? Шучу-шучу, не сердитесь. Из одного уважения. Может, вы, родной-дорогой, обиделись на меня? Что-нибудь из-за Лиды? Простите старого дурака. Для вас ничего не жалко. С руками, с ногами. Кушайте на здоровье. Дело прошлое. Кто старое помянет. Сами понимаете — вроде отца. Христофор Колумб, पहले всех. Раньше Лобзикова и раньше Полянского. Жалко же все-таки. Ну и выиграло ретивое. Бывали и мы рысаками. А вы туда же, принципиальный вы человек: «вижу, вижу, вижу насквозь!» К чему такое? Тихо-мирно. Ну хотите — на колени встану? Только для вас, из одного уважения. Хотите?

И не успел ты понять, что это значит, как Генрих Иванович Граубе — при шляпе и с портфелем в руке, — наскоро оглядевшись, упал в снег на колени. Его массивная физиономия, пожелтевшая под цвет обстановки, была исполнена грусти и благородной просительности.

На одну секунду тебе в голову пришла дикая мысль: быть может, Генрих Иванович сам тебя опасается?..

Но ты отогнал иллюзии. Ты вовремя сообразил, какая высшая стратегия заключена в униженной позе. Снизу, из грязи, виднее, уязвимее душа человека. Снизу ты легче доступен. Упавший перед тобой на колени имеет уже те преимущества, что может в любую минуту схватить тебя за ноги и уронить на спину.

Поэтому, не дожидаясь, ты с криком отпрянул в сторону и, видя, как брови Граубе лезут от удивления вверх, ударил его по лицу, не в бровь, а в глаз... В воротах ты обернулся. Генрих Иванович сидел на снегу, толстый портфель лежал перед ним плашмя. Одной рукою Граубе закрывал половину лица. Но здоровой половиной он продолжал смотреть на тебя.

— Погодите! Не уходите! Уверю вас — вы ошибаетесь! — говорил он, шмыгая носом и тихонько повизгивая. — Какой же я соперник? Вы зря волнуете-

тесь. Моложе меня. Поберегите здоровье. Лида сама к вам явится, только свистните. Хотите скажу ей — не поехали в Ялту? Сама прибежит. Хотите?

Но ты не поддайся на приманку. Со всех ног, забыв о некупленной колбасе, ты бросился домой и там заперся.

5

В тот же вечер к нему пришла Лида. Она позвонила два раза — никто не отзывался. В дверную щелку для писем виднелся кусок прихожей, тусклой и захламленной второстепенной домашностью. Наискось, на полу стояли ноги. Лида их узнала по ботинкам и брюкам. Все остальное находилось вне доступа.

— Это я — Лида! Откройте, Николай Васильевич! — крикнула Лида радостно в письменное отверстие.

К ее удивлению, знакомые ноги не сдвинулись с места. Они чуть заметно вздрагивали, но к ней навстречу не шли. Выждав для приличия, Лида позвонила еще раз.

Шумело отопление. Внизу, на первом этаже, играло радио.

— Николай Васильевич! Это же я — Лида. Почему вы молчите? Думаете — я вас не вижу? Вон, вон — в углу стоите, и брючки на вас такие же самые, чехословацкие, полушерсть. Пустите на минуточку.

В прихожей щелкнул выключатель. Светлая полоска погасла. Лида в нерешительности сделала круг перед дверью.

— Или вам обидно, что жениться на мне обещались? Так вы не думайте, я не для того. Мне расписываться не обязательно. Честное слово. Зачем вы свет потушили, Николай Васильевич? Все равно все слышно. Стоите там и вздыхаете. Как не стыдно! Вам, наверно, про меня чего-нибудь рассказали? Не слушайте никого. С Лобзиковым я уже четыре месяца ничего не имею. И с Полянским тоже. Как вы в отпуск ушли — только про вас думаю. Ни с кем ни разу даже не целовалась. Честное слово. Я, Николай Васильевич, если хотите, на всю жизнь вам верной останусь. Вечно вас буду любить. Как мужа. Обед для вас буду варить, если захотите.

Она прижималась к двери то глазами, то губами. В квартире Николая Васильевича господствовала тишина. Но оттуда — сквозь узкую щель — тянуло теплым, немного затхлым воздухом.

— Что же ты, милый, что же ты розочку не сорвал? — шепнула Лида, зардевшись. Потом понюхала в последний раз прорезь и пошла восвояси.

Лишь с ее уходом ты рискнул пошевелиться, размять затекшие члены. Ты был в жару и в поту. Какое мальчишество — выскакивать на звонок, под яркий электрический свет! Эта оплошность едва не стоила тебе головы. Хорошо по крайней мере, что ты вовремя спохватился и застыл на месте, как мертвый, будто это и не ты вовсе и тебя нет.

А что оставалось делать? Впустить ее внутрь? Демонстрировать у всех на глазах свою личную жизнь? Да с кем? — с той самой женщиной, которая — те-

перь ты осознал это вполне — была приставлена к тебе по указке Граубе? Еще тогда, при гостях, она провоцировала тебя на любовь, и ты чуть было не... Бежать! Бежать пока не поздно! Пока она не вернулась, не ворвалась к тебе насильно под маркой бывшей невесты, которая считает своим долгом следовать за тобой повсюду — только потому, что ты имел несчастье однажды ее ущипнуть на какие-нибудь три сантиметра выше общего уровня...

Ты выглянул в окошко, таясь за косяком и не зажигая огня. Путь был отрезан. Внизу дежурила Лида. Она не собиралась тебя покидать и расхаживала перед домом, как часовой.

Твои ноги в нагретых ботинках распухли и болели. Ныла рука, поврежденная мерзавцем Граубе при помощи надбровной дуги. Но хуже всего было не оставлявшее тебя ощущение — едкое, щекотливое чувство собственной кожи. Ты непрестанно морщился, мотал головой и растирал ожесточенно ладонями лоб и щеки.

...Это тяжелое зрелище мозолило мне глаза. Они тоже изрядно болели. Казалось, у меня между век вставлены спички-распорки и оба глазных яблока расцарапаны до крови.

Чтобы дать себе роздых, а также по возможности облегчить его страдания, вызванные моей наблюдательностью, я старался глядеть в другую сторону и честно избирал для прогулок самые отдаленные улицы — Марьину рощу, Большую Оленью, что в районе Сокольников. Но это не помогало. Куда бы я ни двигался — пешком или на троллейбусе, — передо мной маячили злые глаза и веснушчатые рыжеволосые пальцы...

Я хорошо понимал, что все это может плохо кончиться. Когда стало невмоготу, я взял такси и выехал на место событий.

Мой расчет состоял в том, чтобы увлечь Лиду с ее поста и тем самым разрядить обстановку. Я думал уменьшить число глаз, которые силой воображения он на себе сконцентрировал. Но был и второй момент: мне хотелось рассеяться. Я нуждался в третьем лице для забвения и защиты от моего преследователя.

Лида самоотверженно мерзла под его темными окнами. Хотя мы были знакомы, так сказать, заочно, ее слабые струны для меня не составляли секрета. Делом пяти минут было завязать разговор и пригласить ее погреться неподалеку в кафе. Я назвал себя первым попавшимся именем, кажется — Ипполитом. Она согласилась. Ей все равно идти было некуда.

Пока мы ждали сациви и шашлык по-карски, я высказал ей в утешение несколько комплиментов.

— Зачем вы бороду носите? — спросила она кокетливо. — Для солидности? Но это вас старит. И вообще — рыжим борода не к лицу.

— Что вы говорите?! Какой же я рыжий?! — ужаснулся я ее способности перекрашивать вещи по своему вкусу.

— Нет, вы рыжий! — упрямылась Лида. — С рыжеватым оттенком. Вы немного похожи на одного моего знакомого...

Я не считал нужным муссировать эту тему, опасную для всех нас, но сказал напрямик, что терпеть не могу рыжих. Рыжие вечно думают, что все на них



смотрят, и потому они ужасно много мнят о себе и никому не верят. А на самом деле никто на рыжих не смотрит и смотреть не желает, и нет никому до них — до рыжих — никакого дела.

— Зато они — ревнивые, — хвасталась Лида. — И все тонко чувствуют и тонко понимают.

О, я прекрасно видел, куда летят ее мысли. Но все это было впустую. К тому времени, как нам подали ужинать, ее рыжеволосый красавец успел далеко зайти в разрушительном изобретательстве. Лежа во мраке и уткнув лицо в подушку, он силился, что есть мочи, ни о чем не думать.

— Ди-ди-ди, ля-ля-ля. Ди-ди-ди, ля-ля-ля, — бормотал он сосредоточенно.

Ему казалось, что, выключив мозг с помощью очевидной бессмыслицы, он избежит от соглядатаев, подсматривающих за ним изнутри. Мало ему было восстанавливать против себя целый свет. В самом себе он заприметил следы своего тайного розыска и решил сразиться со мной на путях своего сознания. «Ди-ди-ди, ля-ля-ля» — попробуй пробейся сквозь эту стену. И не зацепишься. Что значит это тупое, бесталанное дидиликанье?..

Я сказал Лиде, разливая коньяк:

— Пейте, Лидочка. Пейте, Лидидилия. Не будем думать ни о каких рыжих, ни о каких рыжих. Не обращайтесь на рыжих внимания. Вам сразу станет легче. Кушайте сациви и шашлык. Шашлык! Шашлык! Сациви!

— Ди-ди-ди, ля-ля-ля! дядя! дядя! дядя! ди-ди-ди, ли-ди-ди...

— Сациви! Сациви! Кушайте, Лидочка, шашлык. Жирный, жирный, рыжий шашлык. Шаш? — или шиш? лык! лык! лык! Сациви!

Но мы не могли, сколько ни бились, отвлечься друг от друга, побороть притяжение, влекущее нас к катастрофе. К тому же и мне и ему мешала Лида. Она сказала, разогревшись после третьей рюмки:

— Вы мне нравитесь, Ипполит. Вы очень, очень похожи на одного моего знакомого. Он тоже меня угощал у одних моих знакомых. Только я вас прошу — сбрейте бороду. Ну, пожалуйста, милый, для меня. Возьмите бритву и сбрейте!

У меня дух захватило от ее предложения.

— Молчите! — крикнул я ей. — Ни слова больше! Ни одного упоминания ни о каких острых предметах! Слышите?!

И в то же мгновение я увидел, что он поднимает голову.

Ты поднял голову, как бы прислушиваясь к нашему разговору, и улыбнулся. Ты сказал себе мысленно: «Надо побриться» и повторил вслух: — Надо побриться! Ля-ля-ля! Надо побриться!

И опять улыбнулся — второй раз за все это время.

Меня била дрожь. Я схватил Лиду за руку, и мы, не допив коньяк, выбежали на улицу. Там — без предисловий — я объявил, что люблю ее, люблю безумно, страстно, и ни на кого не хочу смотреть кроме нее, и ни о ком не желаю думать, и потому она обязана мне сегодня принадлежать — немедленно, тут же, вот сейчас!

Ты встал и включил электричество. Твои глаза сощурились.

Лида сказала:

— Но здесь же холодно и ходят люди. Если вы так настаиваете, поедemте к вам домой, если вы не женаты.

Я тащил ее по улице, пока ты согрeвал воду и отыскивал свой помазок и эту самую свою бритву. У меня оставались считанные минуты. Не оставалось ничего другого, как зайти в чей-то подъезд. На самой верхней площадке было не так уж холодно, и было маловероятным, чтобы нас увидели.

А если б и увидели? Какое мне дело! Меня одолевали свои заботы. Это я, я сам не должен никого замечать! Я хотел, пока не поздно, выскочить из игры, которая могла плохо кончиться, а других средств спасения, кроме Лиды, не было под руками.

Я встал перед ней на колени. Мне хорошо запомнилось одно правило: «снизу человек доступнее, и стоящий перед ним на коленях может в любую минуту схватить его за ноги и опрокинуть на спину».

Так оно и вышло. Лида дружелюбно трепала мою склоненную голову, а я обхватил ее руками за тонкие ноги и прислонил к стене. Класть Лиду на кафель мне не хотелось: еще простудится.

Я не стыдился своих намерений, достаточно откровенных. В конце концов, не для своего удовольствия я старался. У меня не было иного выхода.

Конечно, было бы лучше, если бы ты оказался на моем месте. Чего тебе не хватало в жизни — так именно откровенности. Все-таки в объятиях женщины всякий мужчина, даже самый скрытный, заносчивый, вынужден волей-неволей держаться непринужденно. Быть может, и тебе, не отвергни ты Лиду, это бы пригодилось, и — как знать? — будь ты немного доверчивей, может быть, и меня ты сумел бы лучше понять...

Но ты предпочел иной путь и теперь, зажав бритву в цепких веснушчатых лапах, водил ею вдоль щек, будто на самом деле собирался привести их в порядок. Зная твое притворство, я спешил. Скорее, скорее уйти, зарыться в свои занятия, чтобы ты тоже, наконец, перестал обращать на меня внимание, перестал бы бояться, таиться и лелеять в душе мстительные расчеты.

Лида шумно вздыхала и, закрыв глаза, гладила мои волосы:

— Коля! Коленька! Николай Васильевич! Рыженький ты мой! Ненаглядный! — твердила она на все лады.

Я не испытывал ревности. Но меня угнетали эти бесконечные напоминания, эта неуместная близость к тебе в ту минуту, когда я надеялся скрыться от тебя достаточно далеко. Я приближался к тебе с опасной быстротой и уже видел рядом с собою твои глаза, расширенные от бешенства. Назад! Назад! Поздно. Я вошел в твой мозг, в твое воспаленное сознание, и все твои последние тайны, которые я и знать не хотел, открылись передо мной.

Ты вскочил со стула. Все свидетели твоего злодеяния были в сборе. Ага! Попались! Ты замахнулся на меня, на Лиду, на весь мир своей заготовленной бритвой.

— Стой! Не смей! Что ты делаешь?

Я зажмурился. И вмиг давно не испытанное спокойствие вернулось ко мне. Стало темно и тихо. Я перестал тебя видеть. Тебя больше не было.

6

Когда я открыл глаза, Лида помадила губы. Она встряхнулась, поправляя шубу и платье. От нее отскочила пуговица и покатилась вниз, со ступеньки на ступеньку. Лида сошла по лестнице и подобрала пуговицу. Потом спустилась еще на один этаж.

— Куда же вы, Лида? — сказал я скорее из вежливости, чем по искреннему побуждению. Ответа не было: Лида спешила на свой пост, оставленный час назад. Взглянув в том направлении, я убедился, что она зря торопится. Сторожить ей было некого. Наш общий знакомый валялся под столом с намыленной щекой и перерезанной глоткой. Падая, он ухитрился разбить настольную лампу. Свет в его комнате не горел.

Я присел на ступеньку в ожидании, когда Лида исчезнет. Но окончательно скрыться из моих глаз ей никак не удавалось. Тогда я встал и, покинув гостеприимный подъезд, направился по городу — в свой обычный обход.

Все было по-старому. Шел снег, и было такое же самое состояние суток. Два инженера — его бывшие сослуживцы, Лобзиков и Полянский — играли на рояле Шопена. Четыреста женщин по-прежнему рожали четыреста младенцев в минуту. Вера Ивановна прикладывала примочку к посиневшему глазу Генриха Ивановича. Шатенка надевала штаны. Брюнетка, склонясь над тазом, готовилась к встрече с Николаем Васильевичем, который, как бывало, бежал под хмельком по морозцу. Труп Николая Васильевича лежал в запертой комнате. Лида, как часовой, ходила под его окнами.

Я видел это и неотвязно думал о нем. Мне было немного грустно.

Ты ушел, а я остался. Я не жалею о твоей смерти. Мне жаль, что я не могу тебя забыть.

1959

## КВАРТИРАНТЫ

### 1

Эх, Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич! Да разве вы сравниваетесь с Николаем Николаевичем? Смешно даже. У вас и виду нет никакого, и бицепсы на вас обвисли все равно что, простите за сравнение, сосцы на какой-нибудь исхудалой собачке. И коньяк вы хлещете начиная с утра — откуда только деньги берутся? А Коля, Николай Николаевич, был человек молодежавый, инженер — конструктор электрических двигателей, двадцать девять лет — самый сок. И тот не осилил. Вызывает меня как-то на кухню. «Что ж это, — говорит, — что ж это, — говорит, — Никодим Петрович, происходит?» А сам белый-белый. Как потолок.

Куда вам до него! Певун был! Физкультурник! Бывало, проснется рано утром, всю гимнастику под звуки радио сделает, зубы щеткой почистит и начинает:

Все выше, и выше, и выше  
Стремим мы полет наших птиц,  
И в каждом пропеллере дышит  
Спокойствие наших границ.

Приятно слушать. Хотя он и тенор, а я больше басы люблю. Поверьте старику — уезжайте прочь отсюда. Покуда целы. Чемоданчик в руки — и с Богом. Хотите для вас — по знакомству — записочку сочиню? В горжилотдел, к самому Шестопалову. Неужто не слышали? Шестопалов. Квартирные вопросы решает. Я под его началом тринадцать лет прослужил. Студенческим общежитием и двумя домами заведовал. Комендант, управдом — как хотите зовите. До самой пенсии. На Ордынке. В пять этажей и в шесть. Он в пять минут любую жилплощадь разыщет. Ну что вы, что вы!.. По моему-то ходатайству!..

Обживетесь на новом месте. Библиотеку вашу временно здесь оставим. Я постерегу. Почитаю с вашего разрешения. У вас нет ли случайно: «Юный бур из Трансвааля»? Еще до войны читывал. Автора вот не запомнил. Иностранец какой-то, француз..

Жаль-жаль. Ночи-то длинные, а ноги-то ноют. Суставной ревматизмус. Застарелая, коренная болезнь. Что? Наливайте, наливайте: не повредит.

За ваше здоровье!

Н-да... Коньячок у вас, действительно, самый отборный, по рецепту. В пищеводе ощущение ласки. Сопьюсь я с вами. Нет-нет, не беспокойтесь, закусывать я не люблю. Весь привкус теряется. В самом деле, Сергей Сергеевич, переезжайте на другую квартиру. Здесь, говоря по секрету... Вззоете, когда узнаете, да поздно будет. Ну, что вы заладили: не поеду да не поеду. Лениость это

одна с вашей стороны и ничего больше. А там, глядишь, и я за вами следом. Вместе поселимся. Не хотите с Шестопаловым связываться — обменять можно. Давайте дадим объявление. Моя комната плюс ваша — тридцать один метр. Вот вам и пожалуйте — изолированная квартира. А?

Я вам, как писателю, условия жизни создам. Тишина чтобы, порядок. Мне тоже нужен покой. Может, вы еще жениться сумеете, внучат разведем, котят. Я при них бы сидел. Вместо бабушки. Про коньяки и думать забудем. Разве что по большим праздникам: Новый год, первое Мая. Хозяйство наладим. Дер тыщ, дас шранк, валенки мне новые купим. Эх, и жизнь пойдет! Давайте выпьем, что ли! За ваше здоровье, Сергей Сергеевич.

Я ведь, говоря откровенно, почему с ним подружился — с Колей то есть? Хороший он человек, хозяйственный, домовитый. Как придет с работы — за дело. Этажерку лобзиком выпилил, радиоприемник из чепухи собрал. Своими руками. И Ниночка его тоже мне сначала понравилась. Хлопотливая такая, как птичка. Все в дом, в дом тянет. Полгода не прошло — верите ли? — они уже гардероб новый купили. С зеркалом во всю дверцу. Занавеси из тюля повесили. А все по четвертной, по тридцать рублей в получку, по копеечке, можно сказать, домашний очаг созидали. И все прахом пошло. Эх, Коля! Коля! Где вы теперь, кто вам целует пальцы?.. Да-а-а! В доме душевнобольных. Выражаясь по старинному — в желтом доме-с. А разве это дом? Так, одна видимость. И дома никакого нет — общежитие для безумцев и ничего более.

Что? С чего началось? С пустяка все началось. Кушает он однажды вечером гороховый суп и вдруг вылавливает из тарелки — представляете — женский волос. Обыкновенный женский пучок и больше ничего. Говоря по-деревенски — очески. Он, конечно, оборачивается к своей Ниночке и спрашивает ее довольно спокойно, как это понять. Та вспыхнула вся и говорит, тоже довольно спокойно:

— Это, — говорит, — Николаша, Кроваткина свои лохмы к нам в кастрюлю вместо мяса подкладывает.

А волосы, между прочим, седые. Седые...

Тс-с-с! Вот я и спрашиваю: Сергей Сергеевич, нет ли у вас такой интересной книги — Фенимор Купер «Последний из могикан»? Да! «Последний из могикан»! Про индейцев Южной Америки! Так, так, так! Значит, нет! Значит, нет! Погода какая дождливая! Погода — говорю — дождливая!..

Ушла... Это она и есть, она самая — Кроваткина. Сухая ведьма. Ухо к дверям приложит и контролирует, о чем мы с вами беседуем. Уж я ее чувствую, знаю. Раз говорю — значит, знаю! У меня на это дело свое осязание есть. Сами с усами. Спиною их пашни угадываю. За десять метров.

Что вы! Какие тут фокусы! Не верите — могу доказать. Вот сейчас к вам спиной повернусь и ничего видеть не буду, а все буду угадывать. Любое телодвижение.

О-хо-хо! ноги-то, как чужие. Ну! Начинайте.

Тэкс-тэкс. В этот самый моментик вы в носу ковыряете. Мизинцем. Теперь — перестали. За левое ухо схватились. Нижнюю губу оттопыриваете. Что, угадал? Хе-хе. А вы затейник! Какую пантомиму позади меня разыграл! Думает —

не узнаю. Язык высунул, лоб сморщил... А глазки-то у вас, Сергей Сергеевич, совсем косые. Захмелели вы. Сразило вас это зелье.

Ну, на сегодня хватит. Я и не так еще умею. А теперь — по последней — и спать. Поздно уже. Что соседи подумают?

Нет, нет. И не просите. В другой раз доскажу. Перебила меня эта Кроваткина. Все настроение испортилось. Давайте я лучше на прощание что-нибудь совершу. Вот сейчас — хотите? — не сходя с места, исчезну. Возьму и улечусь. Раз, два, три! Вот я был и вот! — меня! — неттт!

Покойной ночи, Сергей Сергеевич!

## 2

...Таким образом в скором времени одни русалки остались. Да и те... Сами знаете: индустриализация природных богатств. Дорогу технике! Ручьи, реки, озера химическими веществами пропахли. Метилгидрат, толуол. Рыба — та попростудохнет и вверх брюхом плывет. А эти, бывало, вынырнут, отфыркаются кое-как, а из глаз — не поверите! — слезы от горя и разочарования. Сам видел. По всему роскошному бюсту — стригущий лишай, экзема и даже, простите за нескромность, венерические рецидивы.

Куда спрячешься?

Недолго думая — туда же, вслед за лешаками, за ведьмами — в город, в столицу. По каналу Москва-Волга, через эти самые шлюзы — в сеть водоснабжения, где почище да посытнее. Прощай, родимый край, первобытная обстановка!

Сколько их тут погибло! Видимо-невидимо. Конечно, не насовсем. Бессмертные создания все-таки. Ничего не попишешь. Но которые из них помясистее — в водопроводных трубах застряли. Да вы сами, вероятно, слышали. На кухне кран отвернете — оттуда вдруг рыданья несутся, бултыханья разные, чертыханья. Думаете — чьи это штучки? — Их голоса — русалок. Застрянет в умывальнике и ну капризничать, ну чихать!

Между прочим, в нашей квартире одна бывшая русалка проживает вполне легко и свободно. По паспорту — Софья Францевна Винтер. Знаете ее, конечно. В бумазейном халатике бегаёт и водные процедуры принимает с утра до вечера. То в ванной комнате плещется по три часа кряду (другим жильцам руки помыть негде), то в тазик частично усядется и стихи про Лорелею поет. На немецком языке:

Их вайс ниht вас золь эс бедойтен

Дас их зо траурих бин...

Генрих Гейне сочинил. Говорю ей вчера: — Софа! Ты бы хоть нового жильца постеснялась. Писатель как-никак. А ты в одном халатике по коридору бегаешь,

без пуговиц, без тесемок, и при каждом своем движении на полметра распахиваетесь.

А она — бесстыжая девка — только зубы скалит. «Ваш писатель, — говорит, — мне „Белую сирень“ подарил. Духи такие. У меня с ним, бабушка, понимание с первого взгляда».

Берегитесь, Сергей Сергеевич. Упаси вас Бог за нею ухаживать. Защекочет до смерти. А насчет чего посущественнее — я так скажу: рыба кровь у нее и все прочее — рыбе. Одна только наружность дамская, для соблазна...

Вот вы опять смеетесь и ничему не верите. А хотя вы писатель — наблюдательности у вас никакой. Ну, что вы можете сказать, например, про Анчуткера? Ваш сосед. Анчуткер. Вот за этой стенкой. Ничего особенного. Гражданин как гражданин. Разве что еврей. Моисей Иехелевич. Подумаешь! Карл Маркс тоже, небось, из евреев произошел.

А если присмотреться, да повнимательней?.. Шевелюру он какую носит? Вы встречали когда-нибудь в жизни подобную шерсть на мужчине? А цвет лица? Где вы у человека найдете до такой степени синюю кожу? И взгляд у него невеселый, и штiblеты 47-го размера, к тому же всегда перепутаны: правая принадлежность на левой, а левая — на правой. Так и ходит, медведь неучливый, и дома и в министерстве.

Опять же, обратите внимание, какую он литературу почитывает. «Лес шумит» Короленко. Новый роман Леонида Леонова «Русский лес». Я не спорю — роман замечательный. Но зачем же, спрошу я вас, непременно на эту тему? И почему он, проклятый Анчуткер, по лесному ведомству служит? Березы да елки логарифмической линейкой считает, на кубометры перекладывает... И не Анчуткер он вовсе, а по-правильному, по-научному — Анчутка. Теперь смекаете? То-то!

Нет, Сергей Сергеевич, не найти вам среди наших квартирантов ни одного живого лица. Хоть и родня они мне. Так сказать, из одной деревни. Да что толку! Мне моя репутация дороже стоит. Это невежды говорят, малограмотные, некультурные бабы — домовой, дескать, заодно с лешим. Ошибаетесь! Совсем другая профессия. Нельзя в этом вопросе не видеть принципиальных различий. Домовой — он к дому привык, к человеческому запаху, к теплоте. Испокон века. Ему с чертями да с ведьмами не по пути. Может, вы думаете — общая природа? Не скажите! Мало ли что природа! Человек, например, тоже от обезьяны произошел. Однако впоследствии выделился в самостоятельную разновидность. С обезьянами дело имеет лишь в Африке да в зоопарке. Каково же мне — мне! — пожилому, можно сказать, человеку в коммунальных условиях жить?!

Как въехали они в нашу квартиру — Николай Николаевич с Ниночкой, я им сразу сказал: — Коля! — говорю, — Ниночка! держите ухо востро. Не поддавайтесь на провокацию. Живите, как в отдалении. А я возле вас погрёюсь на старости лет.

— Нет! — отвечает Ниночка. — С волками жить — по-волчьи выть. Не забуду я этой Кроваткиной истории с гороховым супом. Она у нас мясо ворует, а я ее волосы жуй? К тому же — грязные и седые. От них заразиться можно.

И велит своему Николаше приладить ко всем кастрюлям висячие стальные замки. Чтобы пищу, значит, на ключ запирать, пока варится без надзора на плите общего пользования. Бывало, прокрадется на цыпочках, отомкнет поскорее кастрюлю, соли-масла добавит и опять на запор.

Только это не помогло. Превратности продолжают. Курицу, скажем, на огонь поставит и замочки повесит. Отпирает —дохлая кошка сварена в курином бульоне. Даже не ободранная, прямо в шкуре, с хвостом.

Ниночка — в амбицию. Ее тем временем другая соседка — Авдотья Васюткина — на свою сторону переманила. Образовался альянс. У Авдотьи с Кроваткиной личные счеты: Анчуткера никак не поделят. От Анчуткера у обеих детишки. Лешанята, значит. Вот и сражаются, врагини, за свою ведьмячью любовь.

Представляете картину? Кухня. Дым коромыслом. В дыму эти ведьмы раскачиваются, ухватив друг друга за космы. В лицо друг другу плюют на близком расстоянии. Нехорошие слова произносят очень отчетливо:

— Ведьма! Потаскуха!

— Сама ты ведьма! Куда сегодня ночью верхом на унитазе каталась?

Под ногами у них ребятишки синепузые вертятся. Норовят укусить за икры противоположную сторону. Маленькие еще, а зубастенькие, с коготками.

И тут же, представляете, Ниночка. Волосики разметались. Глазки горят, как лампочки от карманного фонаря. В руках — скалка, и сквозь разорванную рубашку ребрышки ее цыплячьи так ходуном и ходят, так и ходят.

Увидел я эту картину и впервые заплакал. Мне, старику, совладать ли с тремя рассвирепевшими бабами? Бегаю вокруг, умоляю. — Брысь, — кричу, — по своим углам! А то я милицию вызову. — Они и слушать не желают. Стон стоит по всей жилплощади, топот, гром сковородный. Да еще в ванной комнате русалка Софа заливается истерическим смехом...

Вечером говорю Николаю: — Так и так. Уйми ты свою Ниночку. Добром это не кончится. Вот увидишь. Сними ты с нее по-домашнему трикотажные панталоны да всыпь легонько венником, чтобы не совалась в чужую баталию.

Как можно! Обиделся даже. «Я, — говорит, — до Верховного Совета дойду, а дела этого так не оставляю. Кроваткину судить надо. Она — фашистка. Она мою жену оскорбляет и словом и действием. А Ниночка за всю свою молодую жизнь пальцем никого не тронула...»

Любил ее Коля, простая душа, любил без памяти. Вот и пошли у них...

Сергей Сергеевич, сидите тихо. Не шевелитесь. Видите, под кроватью крыса бегаёт? Совлеките незаметно ботинок и бейте. Не промахнитесь только. А то уйдет. Ну! Вот сейчас снова высунется. Ты и кидай. В голову. Наповал. Р-раз!..

Эх, промазал! Бей, Сережа! Хватай! Бутылкой ее! Бутылкой!..

Что ж ты, неловкий ты человек... Говорил тебе — бутылкой. Ух! Даже ноги дрожат. Нервы вконец расшатались...



А знаете, Сергей Сергеевич, — кто это был? Это ведь Ниночка к нам приходила... Скучает она по своему Николаше. Вот и ходит на старое место — наша Ниночка...

3

Не пугайтесь — я без стука. Дело срочное. Беда, Сергей Сергеевич! Беда! Эта Кроваткина все пронюхала и Анчуткеру рассказала. Что теперь будет с нами?! Что будет?!

Послушайте, в вашей комнате мне находиться нельзя. Тем более — в естественном виде. Квартиранты могут заметить. Я и так уже — через щель явился. Под дверь пролез. В моем-то возрасте...

Одну минуту! Сейчас я немного замаскируюсь, тогда оговорим.

Что у вас тут имеется из подходящих предметов?.. Ага! Давайте-ка я буду — стаканом. А вы садитесь за столик — будто бы выпиваете. Если кто заглянет — разговаривайте сами с собой. Пускай они думают, что вы — пьяный. Так безопаснее.

Ну, идите сюда: я уже на столе. Видите — у вас было три стакана, а стало четыре. Да нет же, не этот! Какой вы ненаблюдательный, право. Вот я, вот! Подле тарелки.

Ой! Не касайтесь меня руками! Еще уроните на пол и разобьете. У меня и без этого кости ноют.

Сергей Сергеевич, соберите внимание и выслушайте меня всей серьезностью. Положение наше — хуже некуда. Мы — обнаружены. Ведется следствие. Анчуткер со вчерашнего дня здороваться со мной перестал. Я знаю — меня судить хотят. За разглашение ихних секретов. Завтра в двенадцать ночи на кухне соберется Совет. Все бы ничего, да Шестопалов мной недоволен. Отдал распоряжение: «Мы, говорит, ему доверяли, а у него с чуждыми элементами периодические знакомства. Инцидент с молодоженами мы, говорит, ему простили, так он теперь снова дружбу налаживает с кем не положено. А друг его новый, писатель — все с его слов на бумагу записывает. Могут выйти неприятности. Наказать болтуна, чтобы другим неповадно было. Писателем же займемся особо. Благо он алкоголик и ему настоящие черти скоро начнут мерещиться».

Понимаете, Сергей Сергеевич, что это означает?! Разлучат они нас. Последнего человека отымут. Дома-крова меня лишат. Под пол отправят. В сырость, в холод, к микроорганизмам. Или по канализационной системе вниз головой спустят. И буду я вынужден там циркулировать до скончания света. Наподобие Вечного Жида по имени Агасфер. Вы одноименный роман Эжена Сю читали? Вот-вот. Тем же способом. Из клозета — в клозет.

И вам несдобровать. Окружат вас мерзкими харями, кикиморами, упырями. Страшно станет. Запьете пуще прежнего. И чем больше пить будете, тем страшнее будет. Пока не свихнетесь с ума, как бедный Николай Николаевич!

Бежать нам надо. Все предусмотрено. Завтра в половине двенадцатого я за вами явлюсь. Перед самым началом праздника, перед Большим Кухонным Советом. Будьте наготове. Они гостей ждать станут, в туалеты наряжаться. Закуску готовить примутся. Из падали, из тухлых яиц. Глядишь, в суматохе контроль ослабнет. В этот момент вы меня сажаете в карман (уж я сам постараюсь как-нибудь там уместиться), надеваете сверху пальто, чтобы ветром меня не продуло, и быстрым шагом выходите на улицу. Будто выпили немного и решили прогуляться, подышать свежим воздухом.

Первое время в гостинице перебьемся. А после — дом, квартиру сладим. Без жильцов, без соседей. Сами себе хозяева. «Ни бог, ни царь и ни герой!»

На всякий случай, для профилактики, икону можно повесить. Пусть это вас не смущает: я привык, в деревне воспитывался. Предрассудки эти в народной среде очень распространены.

Не хотите икону, убеждения не позволяют? — обойдемся простой репродукцией. Рафаэля какого-нибудь с младенцем из «Всеобщей истории» вырежем и на видное место приклеим. От нечистой силы, от дурного глаза тоже хорошо помогает. И вполне прилично, прогрессивно. Искусство все-таки. Не придершесь.

Главное, Сергей Сергеевич, вместе надо держаться. Мне без вашей, без человеческой помощи вовеки отсюда не выбраться. По внутреннему помещению расхаживаю сколько угодно. Хочу — по стенам, хочу — по потолку. Но за порог ни ногой. Физиология не позволяет.

Да и вы — не буду скромничать — без меня пропадете. А со мною — Бог даст — всемирную известность получите. Чарльз Диккенс. Майн Рид. Ведь я знаю — все знаю, хитрец вы этакий. Я — в дверь, вы — за перо. Даже когда не совсем в себе и языком плохо владеете...

Так это что, беседы наши! Мизерная частица. У меня этих басен целый декамерон. И все на личном опыте. В пяти томах можно издать. С иллюстрациями. Мы с вами, Сергей Сергеевич, братьев Гримм за пояс заткнем.

Ой-ой-ой! Что же вы делаете? Зачем вы коньяк в меня наливаете? Я захлебнусь, захлебнусь! Ополосните немедленно...

И напугали же вы меня, Сергей Сергеевич. Учтите — завтра чтобы ни-ни! Ни одной капельки! Будьте бдительны, осторожны. И в поступках и в выражениях. От резких фраз с упоминаниями, пожалуйста, воздержитесь. А то знаете, как бывает. Видали вчера Ниночку? Ну да, Ниночку в крысиной форме. Теперь уж так и останется... Не возвратит.

Терпел-терпел Коля, да и скажи однажды: — Ну тебя, Ниночка, к лешему. Надоели мне эти скандалы.

И как только он произнес эти роковые слова, входит к ним в комнату Анчуткер. Вроде бы по делу, за папироской. И смотрит пристально на Ниночку, а Ниночка смотрит на Анчуткера, и очень они друг другу в ту минуту понравились.

Ниночка к тому времени была уже не такой. Волосики поредели, глазки впали, а животик — наоборот — выпучился. От внутренней злобы. И зад у нее

тоже, знаете, заметно заматерел. Словом, по вкусу пришлась, и начались промежуток между ними свидания, щипки, цап-царапки нежные и все такое. Совсем ведьмой сделалась. С Кроваткиной помирились. Даже стала учиться по ночам на унитазе летать. Как ракетный двигатель. С помощью кишечного газа.

А когда Николая Николаевича в сумасшедший приют забрали, бросил ее сожитель. В беременном положении бросил. И чтоб не платить алименты и Авдотьину ревность унять, в бессловесную тварь ее обратили соответствующего содержания. Она потом в норе крысятами разродилась. Семь штук принесла.

Может, и жалко ее. Но я лично вижу в этом факте настоящую аллегория. Подтачивала устои морали — туда и дорога! — и даже очень жалко, что вы ей не попали ботинком по голове. Была бы прямая польза и справедливое возмездие. За Николашу. Как в «Анне Карениной». Хороший был человек.

Заболтался я с вами. Правильно, видать, Шестопалов болтуном меня обозвал. Да ведь легко сказать! От людского жилья отрезан. Слово вымолвить не с кем. Молчишь, молчишь целыми днями. И целыми ночами. Валенками по паркету шаркаешь.

Ладно уж. Только бы уйти отсюда. Я про самого Шестопалова такие истории знаю. Со смеху умрете.

Значит — решено! До завтра, значит. Слово даете? Ну-ну.

Я сейчас удалюсь, как пришел — незаметно. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Никто нас не видал, никто не слышал. Шито-крыто.

#### 4

Эй!

Сергей Сергеевич!

Пора.

Самое время!

Где вы? Куда подевались?

Ушел? Без меня ушел! Старика на растерзание бросил. Бездомного старика...

Что это? Что это? На полу валяется? Неужто помер? Сергей Сергеевич, родненький... Сердце бьется. Глазки моргают. Проснитесь! Бежимте отсюда. Сроки приспели. Сейчас звонили по телефону: Шестопалова ожидают на праздник. С минуты на минуту. Им теперь не до нас. Суетня, подготовка.

Что ж это вы, Сергей Сергеевич?.. А я-то думал... Как вам не стыдно! Еще слово давали... Нашли время... Не утерпели...

Как же вы в таком виде по улице пойдете? Вас в милицию заберут.

Все одно — вставайте! У нас в распоряжении четыре минуты. Поднимайтесь, вам говорят!

То есть как это не в силах? Ноги отнялись? Не дурите!

Голубчик, давайте вместе попробуем. Приложите старания. Хватайтесь руками за шею. Ну! Еще раз. И тяжел же ты, братец. Стой-стой, не вались!..

Ш-ш-ш-ш! С ума ты сошел! Грохот по всей квартире. Догадаются — придут за нами. А я куда денусь? Я тебя спрашиваю или нет — мне что делать прикажешь?

Ну, чего ты бормочешь? Плевал я на твои извинения. Слышишь, слышишь?.. Кроваткина ухо к дверям прикладывает. Пропали мы. Сейчас Анчутке-ра позовет. Шестопалова...

Сергей Сергеевич! Сыночек! Выручай!.. Встань хотя бы на колени. Давай я тебе помогу. Вот так. Вот так. Теперь молись. Я сзади придержу. За плечи. Молись! Молись — тебе говорят, пьяная рожа!

Как это — забыл? Откуда я знаю? Это ты должен знать! Ты — человек, а не я. Тебе и карты в руки. А мне нельзя, не полагается.

Что же ты, Сергей Сергеевич, — с чертями живешь, о чертях рассказы записываешь, а молиться не научился?!

Ладно. Пускай лежа. Повернись на спину. Пойми же наконец, — это последнее средство... Стал бы я в другое время?!. Сложи пальцы. Сначала ко лбу. Теперь — сюда... Ты зачем притворяешься? Врешь! Храпи-не храпи — я не поверю. Все ты прекрасно сознаешь, все понимаешь... Дьявол ты что ли на самом деле или кто?..

А это еще кто?! А-а! Ниночка? Здравствуй, Ниночка... Не бойся, не бойся. Не трону. Мне теперь все равно...

Вот! Полюбуйся на красавца. Твой супруг будущий. Третий по счету. В норе вместе поселитесь... Понюхай ему глаза, понюхай. Лизни. Он позволяет... Ему сейчас не до тебя. Мутит его, комната кружится. И чертики уже в глазах прыгают. И крысы.

Ну, вот и дождались. Идут всей гурьбой. Топочут по коридору. Сейчас ворвутся. Это они за мной пришли. И за вами тоже, Сергей Сергеевич. И за вами тоже. И за вами тоже.

1959

## ГРАФОМАНЫ

(Из рассказов о моей жизни)

...По дороге в издательство я встретил поэта Галкина. Мы сдержанно раскланялись. И я думал пройти мимо, как вдруг он, догнав меня, предложил съесть мороженое и выпить бутылку клюквенной за его счет.

Было жарко и душно. Пушкинский бульвар иссыхал. В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы. Мне это понравилось. Нужно запомнить, использовать: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы». Этой фразой я завершу роман «В поисках радости». Непременно вставлю, хоть прямо в гранки. Приближающаяся гроза оживляет пейзаж и звучит в унисон событиям: легкий намек на революцию, на любовь моего Вадима к Татьяне Кречет...

Я знал за Галкиным слабость: свои сочинения он готов читать кому угодно — даже контролеру в автобусе. Так и получилось. Пока я прохлаждался пломбиром и пил кислую воду, он успел на меня обрушить полтора десятка стихов. В них были «волосатые ноги», «пилястры» и «хризантемы». Больше ничего не запомнилось: обычная галиматья.

Стихи я не люблю. Они скверно действуют на мой ум, направляя его в ненужную сторону. Начинаешь думать в рифму, говорить в рифму, а это ужасно вредит — особенно в создании прозы. Я старался по мере сил не слушать Галкина и, чтобы отвлечь себя от поэзии, начал к нему присматриваться: наблюдения над человеческой внешностью могут всегда пригодиться.

Предо мною качался на стуле типичный образец неудачника. Из почерневшего воротника торчала небритая шея. Толстые губы и сплюснутый нос сообщали ему нечто овечье. Читал он неестественно, растягивая слова как в песне и закатывая от восторга белки. Он впал в состояние транса: его лицо перестало потеть, оно осунулось, приобрело серебристый, металлический отблеск.

Я боялся, что в кафетерии на нас обратят внимание, и предупреждающе кашлянул. Ничего не замечая, Галкин продолжал декламацию. Внезапно он споткнулся посередине строки и весь подался вперед, шлепая пустыми губами, хватая слово, вылетевшее из памяти, как хватают воздух утопающие перед тем, как пойти на дно. Вместо продолжения из него вырвался стон, полный боли и страсти: — М-м-м-ы-ы! — Он не смог застопорить голос и сокрушительно промычал: — М-м-м-ы-ы!

На этом все кончилось... Спустя мгновение Галкин уже говорил с нарочитой небрежностью:

— Как тебе нравится, старик? Как тебе нравится моя графомания?

Он скептически улыбался. Но я-то видел, я-то заметил: грудная клетка у него ходуном ходила и виски сильно пульсировали. На них уже проступили свежие капли пота — следы изнурения.

Я засмеялся и, спокойно посмеявшись сколько было нужно, — сказал:

— Очень странно, Семен, — сказал я. — Очень, очень странно. Ты что же, свои труды, — я нарочно сказал «труды», — считаешь за графоманию?

— Да! Считаю. Считаю, чорт побери!

— И ты согласен, чтобы все, все без исключения, называли тебя графоманом? Прямо в глаза: графоман Галкин! здравствуйте, графоман Семен Галкин! Ни за что не поверю.

— И напрасно! — возопил он, чему-то радуясь. От радости он снялся с места и возбужденно приплясывал.

— И напрасно! И напрасно! Потому что нет никакой разницы. Да, да! Не спорь, я лучше знаю. Графомания! Болезнь — говорят психиатры. Неизлечимое, злое влечение производить стихи, пьесы, романы — наперекор всему свету. Какой талант, какой гений, скажи на милость, какой гений не страдал этим благородным недугом? И любой графоман — заметь! — самый паршивый, самый маленький графоманчик в глубине слабого сердца верит в свою гениальность. И кто знает, кто заранее может сказать? Ведь Шекспир или Пушкин какой-нибудь тоже были — графоманами, гениальными графоманами... Просто им повезло. А если бы не повезло, если б не напечатали, что тогда?..

С безотчетным волнением следил я за выкрутасами Галкина. Что-то в них привлекало меня и отталкивало, попеременно. Я не знал — балагурит он, как всегда, или рассуждает всерьез.

Но Галкин уже скис. Галкин водворился за столик и взял мороженое. Оно растаяло к тому времени, перешло в сметану. Он выскребывал, он вылизывал свой картонный, свой промокший насквозь стаканчик и приговаривал между делом:

— Мимикрия, Павел Иванович. Средство самозащиты. Я не лезу в гении. Но мне надоело. Понимаешь — надоело. Повсюду только и слышишь: графомания, графомания. Другим словом — бездарно. А я говорю им — не вслух, конечно, а про себя, в своей сокровенной душе говорю: — Подите вы все к чертовой матери! Есть же, например, пьяницы, есть развратники, садисты, морфинисты... А я, я — графоман! Как Пушкин, как Лев Толстой!.. И оставьте меня в покое!.. Хочешь, старик, я тебе почитаю что-нибудь романтическое? Из второй книги стихов. Ты знаешь мою вторую книгу?

Я прекрасно знал, что за всю жизнь Галкин не выпустил ни одной книги — ни первой, ни второй. Переводы, правда, кое-какие бывали и стишок один в провинциальной газете по случаю годовщины, а более — ничего. И знал я галкинскую привычку — воображать себя настоящим писателем, с путем развития, с хронологией. Вторая книга, пятая книга — по периодам. Тщеславное вранье графомана.

Мне не хотелось в ту минуту ставить его на место. Он выглядел таким несчастным. Я был готов из сострадания терпеть его вирши дальше. Но я спешил в издательство и мягко ему ответил:

— Давай лучше, Сема, в другой раз почитаешь. А то мне скоро уходить. Меня ждут в издательстве.

И я рассказал вкратце, не афишируя, как обстоят у меня дела, в ту пору весьма обнадеживающие.

На Галкина моя новость не произвела впечатления. Или, быть может, из зависти он сделал вид, что не произвела.

— Эх! — сказал он, зевая и неприлично потягиваясь. — Они тебя обещаниями двадцать лет кормят. Двадцать лет сулят напечатать, а ни одной книги не выпустили.

И снова влез на своего конька:

— В замечательной стране мы живем. Все пишут, пишут, и школьницы, и пенсионеры. С одним тут парнем познакомился. Рожка — во! Кулаки — во! Говорю ему: «Вы бы, дорогой товарищ, лучше боксом занялись. Большие деньги получите. Слава опять же, поклонницы». А он свое: «Нет, — говорит, — у меня, — говорит, — другое призвание. Я рожден для поэзии». Понимаешь — рожден! Все рождены! Общепородная склонность к изящной словесности. А знаешь — чему мы обязаны? — Цензуре! Она, матушка, она, родимая, всех нас приголубила. За границей проще, беспощаднее. Опубликует какой-нибудь лорд книжку верлибра, и сразу видно — дерьмо. Никто не читает, никто не покупает, и займется лорд полезным трудом — энергетикой, стоматологией... А мы живем всю жизнь в приятном неведении, льстимся надеждами... И это прекрасно! Само государство, чорт побери, дает тебе право — бесценное право! — считать себя непризнанным гением. И ты можешь всю жизнь, всю жизнь...

Я поднялся.

— погоди! Пстой! Одну секунду! Вот мы с тобой здесь разговаривали, друг на друга смотрели, а про себя об одном и том же, все об одном и том же непрерывно думали. Каждый думал: ты — графоман, я — гений. Я — гений, ты — графоман.

— Меня, пожалуйста, графоманом не называй, — ответил я резко. — Себя можешь считать кем угодно, а меня не касайся!..

— Ну еще бы, еще бы...

Его плечи тряслись в бесшумном истерическом смехе.

Мы расстались сухо, без рукопожатий, так же, как встретились.

Молоденькая секретарша подняла точеную бровь.

— Страустин? Павел Иванович? — переспросила она, будто впервые слышала мое имя, и углубилась в ящик стола.

Дверь в кабинет редактора, обитая дерматином, была чуть приотворена. Кастрированный редакторский тенор, мне хорошо знакомый, доносился оттуда под унылую трескотню машинисток.

— ...С точки зрения композиции. Еще сильнее хромаете с точки зрения языка. Солнце потело в тучах! Разве так бывает? Разве может солнце потеть? Да еще в тучах. Изучайте Чехова. С точки зрения сюжета — почему ваша Настя выходит замуж за Птицына? И почему был убит лейтенант, этот самый, как его звали?..

Второй голос ворчал, неуверенно сопротивляясь:

— Младший лейтенант Гребень. Под Вязьмой. Так оно и было на самом деле. Полная правда. Погиб ударом в живот. Фамилию немного исправил. Шпилькин звали. И Настя тоже была. Была такая Настя. Зинкой звали. Собрал жизненный опыт. Шестьдесят восемь лет. Полковник в отставке. Три войны, четыре ранения, две контузии в голову. Большой материал. Не, пропадать же. На досуге приносить пользу. Композицию можно исправить. Язык переделать. Это вы правильно заметили. Солнце согласен вычеркнуть.

Как свой человек в издательском деле, я подмигнул секретарше:

— Кто это, Зиночка? Очередной графоман? Бедный Севастьян Севастьяныч! Литературу атакуют полковники, отставные кавалеристы...

Но та и бровью не повела, не пожелала войти в положение и даже не улыбнулась нисколько моей дружелюбной шутливости. Зиночка прихлопнула дверь, обтянутую дерматином, и, укладывая канцелярию в стол, официальным тоном ответила, что роман «В поисках радости» у них больше не числится. Якобы, неделю назад, отвергнутый издательством, он был переправлен ко мне домой вместе с критическим отзывом. Под этим фактом стояла подпись в книге курьера, в графе доставок.

— Вот посмотрите. Руку узнали? Ваша фамилия?

Руку я узнал и узнал горечь обмана и черную змею предательства, вписанную зелеными чернилами, в графу доставок. «З. Страустина». Зинаида! Моя жена!.. Но сейчас мне было не до нее. Сейчас было важнее дать почувствовать этой вот Зиночке — смазливенькой секретарше — ее место в жизни и мое внутреннее достоинство.

Девчонка, доступная любому корректору, а в дневные часы — редактору, который имел обычай шлепать ее по спине, смеет меня учить! Шлепать по спине... Как человек, до конца отдавшийся высокому делу искусства, я был вполне свободен от этих низменных интересов. Но если бы мне посчастливилось напечатать «В поисках радости», я мог бы шлепать ее сколько угодно и она бы не возразила, и была бы еще польщена. Но я бы так не поступил, я бы придумал другое: я бы пригласил ее поначалу в Художественный театр, потом — в прекрасном светло-сером костюме, под реверансы лакеев расслабил бы ее до потери сознания сухим грузинским вином. Потом, расслабленную, веду ее под руку в гостиницу, где для крупного писателя в любой день и час есть номер «люкс», и там, под балдахин, проделываю над нею все унижительные процедуры, какие только можно представить. Не потому, что очень надо, а для одной справедливости. Тогда она поймет, с кем имеет дело. Тогда она не будет оскорблять человека, который гигантски выше ее, но не имеет пока возможностей доказать свое превосходство...

Дверь, обделанная дерматином, неожиданно распахнулась. Оттуда вылетел полковник в отставке — с белым ежиком на бронзовом черепе и непомерно развитой грудью. На нем были прицеплены различные ордена: орден Боевого Красного Знамени, орден Славы и еще другие. Встретишь такого на улице и ни за что не подумаешь, что он в свободное время приучает себя к романистике.



Но теперь он был в поту и отдувался, как бронепоезд, а с тыла его преследовал выхолощенный редакторский тенор:

— Чехова изучайте! Тургенева! Толстого Льва Николаевича!..

Наступил удачный момент.

Я вылез из кресел и, наскоро пригладив затылок, крадучись двинулся к щели, образованной бежавшим полковником. Каких-нибудь пять шагов, немного холодной решительности, и редактор, сидящий в укрытии, был бы у меня в руках. Первая фраза в юмористическом стиле была уже заготовлена. Главное в этих случаях не выказывать робости, держаться непринужденно, с достоинством, на короткой ноге...

Но, видно, тот день проходил под печальной звездой. Цербер, следивший за мной, бросился наперерез. Дерматиновый заслон очутился в распоряжении Зиночки раньше, чем я подросел. Статное тело молодой секретарши, годное для позора преградило мне путь.

— Пустите, пустите! — вскричал я с надеждой, что нас услышит редактор. — Роман «В поисках радости» никем не мог быть отвергнут. Рукопись мне никто не возвращал. Это недоразумение, смешное недоразумение...

Я бы, наверное, в конце концов победил глупую девку. Но надо же было так случиться, чтобы в эту минуту в издательство собственной персоной ввалился писатель Б.

Мы начинали вместе, в одном литературном кружке. Над его лепетом тогда все хохотали. Он писал хуже всех, хуже, чем Галкин. И вот вам пожалуйста: через двадцать лет графоман Б. — знаменитость, хотя за этот срок он исписался вконец и у меня не было сравнений, чтобы выразить крайнюю степень его бездарности.

Он был в прекрасном светло-сером костюме, с тростью из слоновой кости, его большая сытая морда, большелобая, толстощекая, излучала спокойствие и прохладу в разогретую атмосферу. Но я-то знал, что это за птица, и не мог сносить равнодушно его присутствие, вытеснявшее меня из комнаты, как солнечный свет вытесняет звезды с утреннего небосвода... Небосклона... Я чувствовал, что я исчезаю вместе с моими смятыми брюками, растворяюсь в пропотевших носках, таю в бледной улыбке, которая трусливо вылезала на мои соленые губы вопреки сознательному намерению.

Еще немного, и Б., чего доброго, снисходительно заговорил бы со мною о жене, о детях и предложил бы займы 50 рублей в память о нашем знакомстве. Чтобы совсем не исчезнуть в его глазах, выжидающих терпеливо, когда я первый повернусь к нему поздороваться, мне пришлось ретироваться. Я сказал дипломатично, будто что-то припоминая:

— Вот какое дело, — сказал я. — Передайте, Зиночка, вашему начальнику — у меня нет времени. Нет времени с ним сегодня беседовать.

Но она уже тянулась всем телом в направлении писателя Б. Она кивала ему навстречу всеми своими завивками. Я не стал смотреть в ту сторону, куда она устремлялась, и не поворачивал головы...

На лестнице моих ушей коснулся подозрительный смех. Зиночка взвизгивала так весело, точно ее щекотали. Ей вторило львиное рыканье преуспевающего графомана. Вскоре к их голосам присоединился третий. Должно быть, это редактор выбрался из засады и, шлепая Зиночку по спине, изогнутой в смешливом припадке, сам понемногу стал издавать слабые звуки...

Я надкусил себе левую кисть, мстя за унижение, которое они мне причинили. Яркий отпечаток зубов проступил на синей коже в виде белого ожерелья. В двух или трех углублениях показалась кровь.

От этой глубокой боли мне сразу сделалось легче. Я вздохнул и подумал, что когда-нибудь я напишу книгу, где выведу это трио в сатирических красках. Тогда они поймут, с кем имели дело, но будет поздно.

Хорошо было классикам XIX столетия. Они жили в тихих усадьбах, имели постоянный доход и, посиживая на стеклянной веранде, промеж балов и дуэлей, писали свои романы, которые немедленно публиковались во всех уголках земного шара. Они от самого рождения знали иностранный язык, обучались в лицеях различным литературным приемам и стилям, путешествовали за границу, где пополняли свои мозги свежим материалом, а детей, детей они сдавали на попечение гувернантки и жен отсылали на танцы или к портнихе или запирали в деревне.

А тут попробуй — возбуди вдохновение, когда организм просит есть и голова забита мыслью, как попасть в необходимую точку, как пробиться сквозь преграды, возведенные на твоём пути проходимцами-графоманами, которые вошли в литературу темным путем и замуровали за собою все входы и выходы. Где взять трехразовое питание? А еще — за газ, за электричество, и прохутились подметки, и рассчитаться с машинисткой за двести страниц машинописного текста, по рублю за страницу...

О, мизерность существования!..

Гляжу на себя и удивляюсь. Неужели этот гениальный мозг, это пылкое, неукротимое сердце воспитались на тухлых котлетках? Я не преувеличиваю: тухлые котлетки и ничего больше за целую жизнь. И нет никакой стеклянной веранды, нет элементарного письменного стола для написания хотя бы вот этой фразы, и пока пишу ее, над моим склоненным затылком с верхнего этажа дудит на трубе трубач, репетирующий одну и ту же пустую мелодию по пяти часов кряду, без перерыва.

Когда писался роман «В поисках радости», я затыкал уши ватой и обматывался вокруг полотенцем, я прикрывал глаза ладонью и работал вслепую, чтобы не видеть удручающие следы на стене — следы клопов и маслянистые пятна, и, напрягая силу воли, абстрагировался от кухонного запаха и от трубных звуков, проникавших в мое сознание сквозь вату и сквозь полотенце. Сравните после этого меня с Львом Толстым, сравните с Иваном Тургеневым! Я не знаю, кто из них, из классиков, согласился бы на мое предложение: пусть меня напечатают, а потом пусть я заболею и сразу умру, так и не изведав как

следует всей посмертной славы. Издайте одну только книгу (лучше всего, если это будет роман «В поисках радости»), а потом убедите или сделайте со мной что хотите — я приму любой ультиматум, а кто из вас принял бы, кто из вас пошел бы на такие условия?

...Жены не было дома, она еще не вернулась с работы, а дома сидел один Павлик, он сидел на кровати, свесив ножки, и рисовал в своем альбомчике. Я предложил Павлику выбрать для рисования другое место и лег на кровать, чтобы передохнуть от жары и привести нервы в порядок. С минуты на минуту могла прийти Зинаида, и я мог хорошо представить, как выскажу ей все что имею, а также меня волновала одна проблема, куда она спрятала пакет, адресованный лично мне и утаенный ею в мое отсутствие вот уже неделю, не говоря ни слова. Тем более, что точной копии я не имел, и это был, можно сказать, единственный экземпляр наиболее полного варианта, и каково было бы его вдруг утратить?

Из состояния задумчивости меня вывел Павлик. Он подлетел к изголовью и молча выложил мне на грудь рисовальный альбомчик, в котором на этот раз было что-то написано.

В прошлом месяце заботами Зинаиды он едва-едва научился писать, и я не думал, что найду в альбомчике готовое сочинение — первый, с позволения выразиться, рассказ моего сына, выполненный карандашом, печатными буквами, по линейке. Во избежание недомолвок я приведу текст целиком, не изменив ни слова и лишь устранив грубые орфографические ошибки.

### Рассказ

В один солнечный день. Около лесного болота, где трава росла очень густо, мелькали маленькие пятна. Это были карлики величиной с палец. Они хотели сделать около болота свой город. Первым делом они резали и пилили траву. Карлики были завернуты в листья. Карлики были разделены на бригады. Вторым делом они собирали траву в кучи. Третьим делом они плели из травы. Четвертым делом они утрамбовывали землю. Одним словом, у них было много дела.

— Это ты сам сочинил? — спросил я строго.

Павлик стоял, словно привинченный к железной ножке кровати, с виноватой улыбкой на губах и безмолвствовал. Бледные щечки горели огнем незрелого честолюбия. Мне было нелегко вонзать в юную душу холодный скальпель хирурга, но я хорошо понимал мой долг — произвести операцию тут же, пока не поздно и он еще ребенок и не почувствует.

— Похвально, что ты умеешь писать, — сказал я, осмотрев критически его каракули. — Переписывай, если хочешь, крупный шрифт из газет, заглавия книг, имена птиц и животных. Это не повредит. Но зачем ты записываешь всю чепуху, какая лезет в голову? Дай мне слово, Павлик, никогда больше так не де-

лать, не сочинять никаких сказок ни про каких лилипутов. Это глупо и стыдно, и над тобой все станут смеяться и будут тебя дразнить, если узнают...

Я вырвал из альбомчика листок с рассказом и, демонстративно скомкав, сунул в карман брюк. Личико Павлика искажилось, он молча глотал слюну и норовил зареветь.

— Когда ты вырастешь, Павлик, и прочитаешь толстые книги, которые сочинил твой отец, ты поймешь, что это не простое дело и тут нужен талант, а может быть, даже гений. Подумай — что получится, если все начнут писать? Кто же тогда работать будет, кто будет читать, когда кругом одни писатели? Нет, давай поделим поровну: я буду писателем, а ты — инженером или музыкантом. Папа — писатель, а Павлик — летчик, Павлик — великий полководец, моряк, знаешь, как это весело — «по морям — по волнам, нынче здесь — завтра там»...

Я встал, прогулялся по комнате и снова возлег на кровать. Как объяснить шестилетнему ребенку, еще дошкольнику, всю сложность создавшейся ситуации? Не вводить же его в курс теории вероятности, в курс теории наследственности?

Не скрою: мне было отраднo в первый момент. Все-таки — моя природа, моя литературная кровь. Значит, я что-то стою, если даже семя мое, брошенное на произвол судьбы, прорастает кривыми буквами по детской рисовальной бумаге...

Но я хорошо знал, что писатель не рождает писателя и у гениев не бывает потомства. Дети Льва Толстого не имели права писать. Дюма — не в счет: оба куда не годятся, особенно Дюма-сын. А Зинаида имела глупость назвать сына Павлом. Она меня никогда не любила. Павел Страустин — на корешках, на обложках, у всех на устах. Через двести-триста лет поди разберись — кто тут я, а кто тут — он — графoман?

К тому же, если вдуматься: люблю я его, в конце концов, или нет? Во имя любви к сыну я был просто обязан. Порочные наклонности в детстве. «На первой ступени — рюмочка вина, на последней — разбитая жизнь». Предотвратить! Да, да! Только поэтому. Для него же самого будет лучше...

— Ты слышишь, Павел? Я запрещаю! Если ты еще когда-нибудь...

Потом, в утешение, я рассказал, что подарю ему скоро настоящую пишущую машинку. Как только издадут мою книгу и мы ужасно разбогатеем, мы купим такую машинку. Нажмешь кнопку — вылетит буква и сама отпечатается на бумаге. Все буквы подряд и знаки препинания. Почти как в книге. Павлик научится печатать, пройдет грамматику и сможет аккуратно копировать папины рукописи. Полный сундук, что стоит в коридоре, и новые, прямо из-под пера. На машинистку нужны деньги, много денег. А Павлик ее заменит, и у нас в доме появится свой фамильный машинист.

— Ну, поцелуй папу. Развеселись, пожалуйста, и поцелуй папу!

На этом поцелуе пришла Зинаида. Она с порога стала мне выговаривать, что лежу в пыльных ботинках на чистой постели, а дома нет ни хлеба, ни чая, ни сахара, ни чего-то еще. Тогда, не вставая, я спросил ее прямо в лоб, где изда-

тельский экземпляр романа «В поисках радости» и почему она об этом ничего не сказала раньше.

Началась перебранка.

Когда я вижу Зинаиду, мне в голову приходит вопрос: неужели эта чужая, немолодая, некрасивая женщина, истощенная женскими болезнями, одетая кое-как и вечно спешащая куда-то, — моя жена и как это могло получиться? А ведь десять лет назад она меня любила и верила в мою звезду, восхищалась каждым словом, созданным мною, и говорила, что редакторы, меня не печатающие, ничего не понимают в искусстве. Ведь это ее образ, исполненный порыва и страсти, с развевающимися волосами цвета спелой ржи, запечатлел я по памяти в образе Татьяны Кречет, переделав только имя, чтобы читатели не догадались, и поместив ее в иную историческую среду. А теперь она готова изорвать роман на клочки, и совсем не интересуется больше моими дальнейшими планами, и говорит, сидя на стуле — нарочно в усталой позе, мотая тощей ногой в обвисшем дырявом чулке:

— Лучше бы ты был алкоголиком. Морфинисты — лучше. По крайней мере — просветы. Любят своих жен, ласкают своих детей. Никакого внимания. Ты занят одними художествами. Сливочного масла. Четыре месяца без работы. Тащить на себе дом. Не видеть мяса. Если бы жена тебе изменяла, ты бы даже ничего не заметил. Безжалостный кирпич. Сахар кончился. У Павлика малокровие. Поди сюда, Павлик. Папа нас не любит. Поди ко мне.

Павлик, шмыгая носом, оставил мою кровать и направился к стулу, на котором она сидела, а я подумал, что это был бы выход, если бы Зинаида мне с кем-нибудь вдруг изменила и кто-нибудь другой взял бы ее замуж. Но кто ее возьмет — некрасивую, в продранных чулках, с шестилетним ребенком? Она будет висеть у меня на шее до самой смерти. Если бы она умерла, в комнате стало бы тихо, просторно и можно было бы по вечерам спокойно писать. А Павлик пускай живет, он — тихий вежливый мальчик и мешать мне не будет. Когда он вырастет, ему поручат весь мой архив или даже музей, как это делают обычно с детьми знаменитых писателей.

— Павлик, поди сюда. Зачем ты меня покинул? Разве ты папу, не любишь?

Он спрыгнул с колен Зинаиды и послушно прибежал на кровать. Лаская его трепещущие остроконечные лопатки, я сказал жене, что Стендаля в свое время тоже травили, что книги мои будут иметь резонанс, может быть, через триста лет, и пусть она сейчас же возвратит рукопись, которую все равно когда-нибудь прочтут и оценят, но будет поздно. Зинаида бесновалась на стуле, всхлипывая и причитая:

— Павел, не смей слушать этого человека! Неужели этот человек тебе дороже матери? Беги скорее ко мне! А ты, Павел, маньяк. Тебя надо лечить. У тебя одно на уме — войти в историю. У тебя нет мужества быть простым смертным. Но ты бездарность, вот ты кто! О, я несчастная!..

Она театрально ударилась головой о штукатурку и, вызвав искусственный кровоподтек, заскулила еще звонче. Понятно, что шестилетний малютка не сумел разглядеть симуляцию. Он выскользнул из моих объятий и очутился у нее в

руках. Я тоже разволновался, и мы начали кричать друг другу все, что имели, ведя борьбу за сердце сына, переходившего из лагеря в лагерь, из рук и руки.

— Павлик, не смей! Павлик, вернись! Это же я, твоя мама. А я твой отец, я твой отец. Поди сюда, Павел. Нет, иди ко мне. Не ходи к ней. Не ходи к нему! Павлик! Павел!

А он бегал от кровати к стулу и обратно, сторбленный, молчаливый, невзрачный, и он мелькал по всей комнате так быстро, что казалось — их много, деловито суетящихся карликов, и у них было много дела, как было написано в рассказе, который сочинил Павлик. Наконец Зинаида схватила его в охапку и больше не выпустила. Он порывался уйти из плена, слыша мои призывы, но с ним началась икота, он громко и часто икал и никак не мог остановиться.

— Вот видишь — до чего ты его довел! — прошипела Зинаида, как будто в этом была не ее вина, и ушла, цепко держа Павлика, чтобы он не сбежал. Но хотя она насильно захватила у меня ребенка, все же победа частично осталась за мной, потому что, уходя, Зинаида нагнулась и вытащила из-под шкафа драгоценную рукопись, которую я уже считал погибшей.

— На! Подавись! — воскликнула она и, размахнувшись, метнула ее одной рукой прямо в меня. Роман «В поисках радости» угодил в спинку кровати и рассыпался на листы. Я кинулся их подбирать.

Вот она и возвратилась к своему создателю, эта книга, испытавшая столько бедствий на пути к славе. Она была облеплена пылью, с перепутанными листами, и некоторых страниц, как я сразу заметил, не доставало, а многие были смяты, разорваны или изуродованы снизу доверху синими редакторскими пометками. Я взял наугад 167-ю страницу и прочитал: «У края обрыва стояла Татьяна Кречет, ее золотистые волосы цвета спелой ржи развевались по ветру». На полях против этой фразы синим карандашом был выведен вопросительный знак.

Я сел на пол и вдруг заплакал и, плача, говорю, обращаясь к Павлику, который, как мне чудилось, все еще здесь присутствует:

— Теперь ты понимаешь, почему я запретил тебе сочинять рассказы? Теперь ты понимаешь?

А еще, тоже плача, я говорил Зинаиде:

— Допустим — я графоман. Но кому до этого дело? Кому это мешает?

Но Зинаида давно ушла, я был один, и никто, по счастью, не мог наблюдать мою минутную слабость.

Когда я пришел к нему в первом часу ночи, пришел в чем был, при одном портфеле, Галкин еще не ложился.

— Давно пора! Либо — семья, либо — искусство. Приходится выбирать, — горячо поддержал он мою идею расстаться навсегда с Зинаидой.

Комната его, к удивлению, оказалась просторной и сравнительно чистой, но вещи в ней имели непривычное расположение: чайник стоял на полу, настольная лампа — тоже, а стол был занят прессом и всяким хламом. На электрической плитке в бритвенном тазике грелся столярный клей.

— Вот, Павел Иванович, переплетную мастерскую налаживаем. В качестве отдыха и развлечения. Книжки житья не дают...

Книг у Галкина было до потолка, полки прогибались дугой. Я вытянул машинально одну: Константин Федин «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

— Не читал! — сказал сердито Галкин. — И тебе не советую. Я вообще, откровенно тебе скажу, — книг почти не читаю. Я их пишу. Зачем нам читать, когда мы сами писатели, сами можем в любой момент сочинить все что угодно... Вот посмотри...

Он подвел меня к полке, где одна, лишь одна секция была покрыта стеклом, и вынул из-под стекла книгу в пестрой обложке без заглавия, совсем новенькую по виду. Взглянув на титульный лист, я обмер:

Семен Галкин  
ВО ЧРЕВЕ КИТОВОМ  
Девятнадцатая книга стихов  
Москва — 1959

Мне хотелось взамен поздравления сказать ему колкость. Наверное, дал взятку, подкупил редактора, чтобы протиснуть незаконно в печать свой сивый бред. Но Галкин меня опередил. С нескрываемым торжеством он произнес:

— Посмотри выходные данные. Каков тираж!

На обороте последней страницы мелким шрифтом было набрано: Редактор С. Галкин. Художник-оформитель С. Галкин. Технический редактор С. Галкин. Наборщик С. Галкин. Тираж 1 экземпляр.

Я медленно рассмеялся. Сначала — неуверенно, потом, постигая истину, — громко, дружественно, от всей души. Подделка была блестящей. И хотя у меня пальцы прыгали от пережитого чувства, я перелистал ее от корки до корки и даже понюхал бумагу. Я выразил, не таясь, свое восхищение автору. Особенно мне понравились запятые — такие крохотные, аккуратные, ну совсем, совсем настоящие запятые.

— Тебе бы фальшивые деньги печатать! Талант зря пропадает, — сказал я ему шутливо и ткнул под ребро. — Да что у тебя, Сема, своя типография, что ли? Чем это сделано?

— Китайская тушь разбавленная и акварель, — ответил хмуро Семен и с непонятной поспешностью отобрал у меня книгу — единственный экземпляр. — Ну, хватит, старик! Пойдем спать...

...Я пробыл у Галкина три дня. Он кормил меня бутербродами с колбасой и поил досыта сладким чаем. Но его манера жить мешала мне думать и отвлекала от сложной работы по ремонту рукописи. Планомерно, фраза за фразой, я припоминал и восстанавливал текст, изъятый из моего романа стараниями злопыхателей, а Семен, шутя и болтая, пек свои переводы.

— Довольно чесать языком! Еще писатель называется! — не раз возмущался я его способностью вечно плести всякую чушь.

Но у Галкина на этот счет имелись дурацкие доводы. Титанический труд писателя состоял, по его понятиям, в том, чтобы разговориться. Писатель болтает с друзьями, мелет в черновиках, повторяет избитые фразы, спотыкается, несет околесицу. И вдруг — ляпает! Ляпает то, что взбрело в голову, подвернулось на язык. И это самое главное: проболтаться нечаянным словом, в котором весь мир увидит отныне, как любил высокопарно говорить Галкин, свой самый верный, самый точный синоним.

По временам он смолкал и, развесив пухлые губы, сидел неподвижно минут пятнадцать с идиотическим видом — форменная копия овцы или, правильнее сказать, барана. Меня зло брало в таких случаях за испорченное вдохновение, за то, что — разговорами ли своими, внезапным ли столбняком — он приковывает мое внимание, не давая сосредоточиться. Тогда я ронял на пол какую-нибудь вещицу — карандаш, или ножницы, или один раз, для опыта, тяжеловесную рукопись — роман «В поисках радости». Галкин не реагировал. С оттопыренной нижней губы ему на воротник свисала паутина слюны.

Особенно жалким он бывал ночью, когда, проснувшись и разбудив меня громким бормотаньем, он без штанов кидался к столу и, почесывая невымытые ноги, строчил за страницей страницу, а потом рвал на мелкие части и, покачнувшись, как пьяный, валился спать. Днем он тоже порядочно изводил бумаги...

— Ты знаешь, старик, — говаривал Галкин, глупо и широко улыбаясь, — чем больше я работаю, тем лучше понимаю: все самое лучшее, что я сочинил, принадлежит не мне и написано, чорт побери, вроде бы не мною. А так, пришло в голову со стороны, залетело из воздуха... Вот говорят: «запечатлеть себя», «выразить свою личность». А по-моему, всякий писатель занят одним: са-мо-у-стра-не-ни-ем! Для того и трудимся в поте лица, вагоны бумаги исписываем — с надеждой: устраниться, пересилить себя, дать доступ мыслям из воздуха. Они возникают сами собой, помимо нас. Мы только работаем, только работаем, только идем, идем по дороге и дорогу им время от времени, перебарывая себя, уступаем. И вдруг! — ведь это всегда бывает сразу и вдруг! — становится ясно: вот это ты сам сочинил и потому никуда не годится, а это вот — не твое, и ты уже не смеешь, не имеешь права ничего с этим поделать — ни изменить, ни улучшить. Не твоя собственность! И ты отстраняешься с недоумением. Оторопь берет. Не перед какой-то там красотой совершенного. А просто испуг перед своей непричастностью к тому, что произошло...

Я внимательно слушал откровенные признания Галкина. Они показались мне очень даже интересными. Вот так так! Не считает своей собственностью? Это надо учесть... Кто же тогда сочинитель?.. У кого он все это заимствует?.. События подтвердили мои наихудшие опасения.

В гостях у Галкина часто терлись личности темного вида. Они являлись запросто, усаживались без приглашений, и по всему было заметно, что этот дом служит им штаб-квартирой или перевалочным пунктом на извилистых литературных путях. В первое же утро пришла особа лет сорока восьми — сорока



девяти, стриженная под мальчика и говорившая о себе в мужском роде. Вместо: «я пришла» она говорила «я пришел», «я хотел».

— Я принес новую пьесу. В пяти актах, — процедила она и подала Галкину левую руку в облупившемся маникюре. Нога на ногу, обхватив переплетенными пальцами вздернутое к подбородку колено, она курила непрерывно, щурясь от слезоточивого дыма, и, кривясь, перекатывала вдоль рта зажеванную папиросу дешевой марки «Прибой».

По ее уходе Галкин дал аттестацию:

— Корректор. Служила в толстом журнале. Уволена за политический ляпсус. Пишет пьесы криминального направления. Очень остро критикует министров, высшую бюрократию. Не печатается исключительно по цензурным условиям. Была первой женой известного скрипача-педераста.

Затем был визит учителя ботаники, лысого, анемичного, при малахитовых запонках, с доброй придурковатой улыбкой всеобщего любимца девочек в пятых и шестых классах средней школы. Он провел у нас четыре часа с лишним: они клеили из картона странную фигуру наподобие морского ежа. Как потом объяснил Галкин, это была книга, тоже книга! но раскрывающаяся по типу гармошки и покрытая изнутри стихами абстрактного содержания. Другие книги — в форме куба, пирамиды и яйца — были выполнены месяцем раньше при содействии того же Галкина, видевшего в этих изделиях новый синтез поэзии, живописи и скульптуры.

Мне хотелось избавиться от незваных гостей и помочь в этом хозяину. Куда ему роль мецената всех графоманов, всех бездарей и неудачников? Сам — графоман, сам — неудачник!

— Ты ничего не понимаешь! — кипятился Галкин. — Ты пишешь длиннющие романы о революции, о гражданской войне... Сколько тебе было в девятнадцатом году?.. А здесь у тебя под носом бушуют страсти, достойные кисти Шекспира... Шейлоки, ягуары! Ах, если бы я был драматургом!

Он гарцевал по комнате, лохматый, похожий на овцу, воздвигнутую на задние ноги, и спотыкался о чайники и стаканы, расставленные на паркете будто на скатерти. С верхних полок от его топанья падали на пол книги, испуская клубы пыли, а он попирал книги ногами и угрожающе восклицал в потолок:

— Подожди, Страустин! Ты увидишь! Мы соберемся вместе... В полном составе... Боже! Какие люди живут в нашей России! И они живут напрасно и бесполезно умирают...

Вскоре я получил возможность наблюдать это зрелище, достойное кисти Шекспира. Народу набилось человек двадцать — двадцать пять — тридцать. Стульев на хватало. Сидели на подоконниках, на энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона...

Здесь были представители всех сект, поколений и направлений: старухи в чеховских пенсне, пишущие о свинофермах, и мальчишки-неофиты в пушкинских кудрях, работающие под Есенина. Тут же вертелся мой старый знакомый — полковник в отставке, при всех орденах. У него был контакт с парнем в

рванной тельняшке. От парня пахло спиртом, тюрьмой и самоубийством. Он застенчиво косился на чистую публику, полковник его ободрял:

— Брось, Гриша!.. Со мною не пропадешь...

Руководил собранием Галкин. Он чувствовал себя именинником и, едва все расселись, попросил слова для небольшого, как он выразился, приветствия.

— Просим! Просим! — крикнула сочинительница криминальных пьес.

— Просим! — промямлил по ее примеру учитель ботаники, конфузливо зажавший в коленях синтетическое произведение — муляж морского ежа.

— Дорогие коллеги! Товарищи графоманы! — начал громоподобно оратор. По комнате пронесся дружный ропот негодования.

— А сам ты кто? — рявкнул полковник в отставке.

Но Галкину только того и надо было. Он провел аналогию между графоманом и гением и тем успокоил присутствующих. Он назвал графоманию основой основ и началом начал и назвал ее болотистой почвой, откуда берут истоки чистейшие родники поэзии. Эта почва, говорил Галкин, переполнена влагой. У нее нет выхода, говорил Галкин. Придет время, говорил Галкин, и она хлынет из недр и затопит мир. Кто был ничем, говорил Галкин, тот станет всем, и пусть не хватит на всех бумаги, мы покроем стены домов и голые панели улиц текстами в стихах и в прозе, говорил Галкин.

Собрание отвечало сочувственным шумом. Но я видел: среди графоманов обнаруживается нетерпение. Уединялись в углы. Составлялись союзы по два, по три лица, и пока один автор читал вслух какое-нибудь свое сочинение, другие, переминаясь, ждали. Каждому хотелось. Галкина уже никто не слушал...

— ...Над нами небо с улыбкой женщины и фиолетовое как чернослив лейтенанта по имени Гребень покоилось на зеленой траве. Генерал Птицын, не утирая скупых солдатских слез, градом катящихся по его щекам, скомандовал: — Я вас люблю, милая Тоня, — и губы их слились в огненном поцелуе. И он почувствовал в душе такую ватрушку с творогом, да пироги с грибами, да подюжины крепких, студеных как сосульки огурчиков, пахнущих свежим укропом и засоленных ранней весной, когда хочется плакать от счастья вместе с природой и восклицать: — О, Русь! Куда несешься ты? — благословляя первый, пушистый, нежный, розовый снег на черную, грязную, скользкую, проезжую дорогу. Румяной зарею покрылся восток, и ты, Вячеслав, полагаешь, что министр не знает об этом? Министр покрывает преступников, но зачем же, Вячеслав, ты крепко ручку мою жмешь, глазами серыми ласкаешь, а на сближенье не идешь?

Всякий теперь выкликал свое. Собрание распалось на группы, группы — на единицы, единицы — на части. Красные, вспотевшие лбы. Хаотические прически. Руки, втыкающие восклицательный знак и выковыривающие из пустоты запятую. Бешеная жестикуляция ртов, слюнявых, пенистых, наполняющих воздух грубыми звуками.

— Комбайн, комбайн, Настя, Липы цвели, золотяпистых не счесть в петухах. Пограничник из хрусталя, горцы на бескозырке. Игорь, свирепея, молчал. Замминистр березовой рощи. Ихоч икотца наждаком фиалки. Ибо поле пащут тракторами. Вызвали секретаря. Секретарь райкома Лыков пухежил на

рассвете Днепра. Ветчина в грунте, заря впереди. Горит, горит! Недаром! На груди шептунчик. Юбовь, юбовь, ской ты пикасна! Липы цвели. Тюлень жасминовый до горизонта. Линуясь произнесла: Ура! Ребята! Не Москва ль за нами? Рём же по капитану!

Вдруг посреди сумбура сверкнула фраза, заставившая меня вздрогнуть и обернуться. Кто-то сказал:

— В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы...

Она сверкнула, как молния, и потонула во мраке слов, клубящихся надо мною, и, стремительно обернувшись, я не мог понять, который из этих лопочущих ртов только что произнес цитату из моего романа «В поисках радости». Но ошибиться я тоже не мог, потому что лишь вчера вписал в текст фразу о приближающейся грозе — именно в том варианте, в каком ее здесь повторили.

И вот опять, в подтверждение ужасной догадки, другой голос в другом конце комнаты негромко, но внятно сказал:

— Возду... чуста... хани... жаю... зы...

Сомнений быть не могло: меня обокрали, у меня похитили мою жемчужинку.

Я не медля протолкался к Семену. Тот в позе Наполеона взирал на вакханалию. Вдавленными своими ноздрями, толстогубыми губами, вытянутыми дудочкой, он жадно впитывал все слова и звуки, летавшие суматошно по воздуху. Он так был поглощен этим делом, что даже не заметил меня. А я в ту минуту, я — прозрел и с ясностью художника, постигшего внезапно всю подлость жизни, я прочитал интуитивно все то, что было написано на жадном лице Галкина.

Именно он, Галкин, и никто другой, был главным виновником моей потери. Недаром он вчера разводил философию, что, дескать, все мы ничего хорошего сами не сочиняем, а лучшие мысли приходят на ум из воздуха. Недаром он и сейчас прислушивался ко всему: завтра использует и скажет: «не моя ответственность», «случайно пришло в голову, подвернулось на язык». С такую же легкостью он отдал своим друзьям-графоманам мою золотую жемчужину. Наверное, подсмотрел в рукописи, пока я спал или ходил в уборную... И вот она ходит по рукам, как разменная монета, среди шулеров и мошенников...

Я подергал Галкина за рукав и с ехидством спросил:

— А тебе, Семен, не хочется записать? Чтобы не забыть и завтра использовать...

— Хочется! — сказал он, даже не покраснев. — Хочется! Но ведь я не драматург и, к сожалению, не прозаик. У меня не получится... Вот на твоём бы месте, Страустин, я бы сочинил что-нибудь подобное... Рассказ, или еще лучше — повесть, роман, эпопею! Я бы назвал ее «Графоманы»! Эпопею про неудачных писателей: Материал, материал-то какой пропадает!..

Видя, что он уклоняется, я спросил — тоже достаточно иронически:

— А как тебе покажется, Семен, такая фраза?.. Мне сейчас довелось услышать...

И я процитировал финальный аккорд из моего романа: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы». Но Галкин опять не покраснел.

— Плохая фраза, — сказал он хладнокровно. — Избитая, старая, как двугривенный... Но разве в этом суть? Дело не в том, как они пишут, а как они жаждут!..

Толковать с ним было бессмысленно. Он прикинулся, что не улавливает моих намеков, и вновь начал ораторствовать:

— Неудачники? Все — неудачники! Всякий человек — неудавшийся гений? Но только мы, мы неудачники, постигшие всю глубину наших гениальных возможностей, только мы знаем... И только в нас, в нас самосознание человечества...

Галкин обращался ко всем. Но графоманы были в азарте. Они вели игру, передергивая слова, перехватывая друг у друга карты, и ничего не заметили. Мое сердце наполнялось презрением. Они украли у меня драгоценность, и назвали ее двугривенным, и пустили ее в оборот, чтобы повисить шансы. Это им не помогло. Они все проигрывали, отчаянно проигрывали, они буквально разорвались у меня на глазах...

В ту ночь мне не спалось. Я положил под голову мою ограбленную рукопись, чтобы Галкин не произвел новых опустошений. Теперь я мог в течение ночи безотрывно контролировать затылком ее нетвердую жесткость. Мне было ясно, что у Галкина оставаться дальше нельзя.

Хозяин преспокойно храпел на письменном столе, соорудив ложе из книг, пальто и единственной в доме подушки. На тахте, где спал обычно Галкин, растянулся учитель ботаники. Ему нужно было в школу к первому уроку, и он не поехал к себе в Филю и остался здесь ночевать. Его присутствие тоже меня не радовало. Я подвинул к дивану лампу и, раз уже мне все равно предстояла бессонница, взял Константина Федина — «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Слог показался мне вялым, а сюжет скучным. Как большинство современных авторов, превративших литературу в неприступную крепость, Федин не обладал ни умом, ни талантом, ни знанием предмета, о котором пишет. Он рассказывал о революции и гражданской войне, ничего в этом не смысля. Но некоторые слова и выражения, если к ним приглядеться внимательнее, выделялись в лучшую сторону и были вроде бы мне хорошо знакомы. Приглядевшись внимательно, я в них обнаружил близкое сходство со мною — с моими книгами разных периодов, все еще не опубликованными.

Например, Федин писал: «Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию». В моей же повести 1935 года «Солнце встает над степью» была — я отлично это помнил — такая фраза: «Дорога привела на обширное поле, засаженное яблонями». Только у меня эти яблони, помнится, цвели и блистали на солнце розовыми лепестками. А Федин, чтобы скрыть плагиат, ликвидировал всю красоту на моих цветущих деревьях и тем неизмеримо ухудшил эту сцену. Но все же мои крупницы, даже в искаженном виде, помогли ему быстро сделать блистательную карьеру, и теперь без зазрения совести он потреблял плоды славы, которые по праву принадлежали мне одному.

Как проклинал я мою доверчивость! Мои рукописи пребывали без движения в издательствах, чтобы через месяц и более вернуться ко мне назад — с выщипанными страницами и неизменным отказом. А пока я страдал в ожиданиях, ловкие руки разных Галкиных, Фединых умело их обрабатывали и пускали в ход под чужими, под фальшивыми именами...

Я встал с постели и, обшарив полки, набрал кучу книг, выпущенных в последние годы. И в какую бы книгу я ни смотрел — открыв на середине — Леонова, Паустовского, Фадеева, Шолохова, — всюду я натыкался на мои следы, погруженные в массу глупого, ни на что не похожего текста. Даже у Франсуа Мориака — при самой беглой проверке — я нашел четыре детали, заимствованные из одного моего юношеского рассказа под названием «Человек», и я долго ломал голову, как же это произошло, пока не догадался, что похитители могли ведь и через границу переправлять копии с моих произведений...

Я был столь обескровлен всеми этими впечатлениями, что под утро невзначай задремал и мне приснился кошмар. Мне снилось, что я сплю, а в мою черепную коробку, сквозь затылок и мозжечок будто бы врзается бумажный лист, испещренный машинописными знаками. Я смотрю в этот лист перевернутыми к затылку глазами и напрягаюсь прочесть, что там напечатано, и от этого будто бы в моей личной судьбе все зависит. А слепые абзацы то выступают передо мной на мгновение, то померкнут, то выступят, то опять померкнут, и ничего не получается. Я долго мучился, так и не разобрав, что там было написано, и, когда пробудился, голова у меня затекла и шея ныла, и на часах было уже четыре часа дня.

Учителя ботаники и след простыл, а Галкин сидел одетый за столом и что-то быстро писал — все то, вероятно, что успел запомнить из вчерашнего кавардака. Он был неразговорчив и желтолиц, и любоваться на него было противно.

Я знал, что нужно поскорее уходить отсюда, пока графоманы меня полностью не обобрали, но почему-то медлил, волянил, слонялся из угла в угол, бесцельно лежал на диване, потягивался, и все мне как будто чего-то недоставало, чтобы взять и уйти. Нащупав в кармане двугривенный, я подошел к застекленной секции, где Галкин хранил свои книги, сделанные ручным способом, и тихонечко постучал в предохранительное стекло моим двугривенным. Галкин сперва терпел, потом просил пощадить, потом поднял голову и огрызнулся:

— Перестань! Что тебе надо?

На пять минут я оставил его в покое, затем снова включился в игру, и я потешался над ним методично до тех пор, пока он не выскочил из-за стола и не начал ругаться. Тогда я сказал ему — спокойно, как только мог:

— Галкин, Галкин, а ведь ты — графоман. Ты самый настоящий, заурядный графоман...

Нервы во мне зудели и кровь рывками прилиwała к сердцу, но я говорил ровным и почти ласковым голосом, чтобы тем самым сильнее его раздражить, и опечалить, и доказать ему с фактической очевидностью, что он обыкновенный графоман, графоман, графоман, графоман — повторял я надоедливо и стучал по стеклу.

— Что же ты сердишься, Семен? Ты сам называл графоманию почетным титулом... Почему же ты непоследователен, графоман Галкин?..

Когда же он, дойдя до высшей точки, заорал во все горло, чтобы я убирался прочь, меня охватило чувство, близкое удовлетворению. Собрав не спеша портфель, я произнес с полным правом это произнести:

— Ну, вот — ты меня выгоняешь... Сначала ограбил, а теперь выгоняешь...

Но я не стал ему объяснять, в чем была его вина передо мною, потому что он все равно ничего бы не понял. Я только попрекнул его на прощание еще раз графоманом и поскорее прикрыл дверь, чтобы он не зашиб меня кинутой вдогонку книгой.

...Я пришел к нему ночью, и ушел поздним вечером, и, так как идти мне теперь было абсолютно некуда, я бродил с портфелем под мышкой по затихающим улицам, не имея перед собой никакой определенной задачи. Мой организм просил есть и переставал просить, головная боль то проходила, то возобновлялась с удвоенной силой, денег у меня, если не вспоминать о двугривенном, не было ни копейки, и делать мне тоже было нечего. От нечего делать я засматривал в освещенные окна на первых этажах и в подвалах, и, когда они не были тщательно задернуты занавесками, мне везде открывалась одна и та же картина.

Был поздний вечер — излюбленный час графоманов, и в каждой доступной мне дыре кто-нибудь что-нибудь писал. Создавалось впечатление, что город кишит писателями и все они от мала до велика водили по бумаге автоматическими ручками.

Сколько их, куда и зачем они пишут? Всюду имелись библиотеки, читальни в миллион томов. Да и в частных квартирах шкафы, этажерки, столы были буквально переполнены, книжные запасы скапливались на подоконниках, свешивались с потолка. И всякий день и час выпускались новые, никому не нужные, никем не читаемые фолианты. А эта армия одержимых продолжала работать...

Я не принадлежал к их числу. Моя судьба была горше, но достойнее. Посреди этого пишущего человечества, быть может, я один был настоящим писателем, чьи произведения хотя и не получили признания, но легли в основу литературы и составили в ней наиболее ценные страницы. Слова из моих книг, расхищенные и распроданные удачливыми современниками, украшают отныне лучшие образцы знаменитейших в мире авторов. Им подражают, их переписывают. Не сами пишут, а меня переписывают, ничего не ведая о скромном творце, который бродит у них под окнами. Да! Я не вошел победителем в лавровом венке в парадную дверь, но я проник в их тела и души через пищу и через воздух, как яд проникает в кровь, и теперь им от меня никогда не избавиться...

Ряды освещенных окон заметно редели. Пишущие отходили ко сну. Вскоре в домах остались только одинокие лампочки, две-три на целый квартал. Это самые злые, закоренелые графоманы упорствовали в своем безумии.

Меня пошатывало и поташнивало от истощения и усталости. Но я шел и шел, не задерживаясь, по улице Чехова, по улице Горького, через площадь Пушкина... И были еще улицы в честь Льва Толстого, Достоевского, Маяковско-

го и не то Лермонтова, не то Некрасова... Я не шел по ним, но я помнил, что они есть.

Классики — вот кого я ненавижу пуще всех! Еще до моего рождения они захватили вакансии, и мне предстояло конкурировать с ними, не располагая и сотой долей их дутого авторитета. — Читайте Чехова, читайте Чехова, — твердили мне всю жизнь, бестактно намекая, что Чехов писал лучше меня... А как с ними бороться, когда в Ясной Поляне даже ногти Льва Толстого, постриженные тысячу лет назад и собранные дальновидным графом в специальный мешочек, хранятся как святыня?! А в Ялте, говорят, в специальных пакетиках сберегаются засохшие плевки Чехова, да-да! подлинные плевки Антона Павловича Чехова, который, говорят, много страдал кровохарканием и даже умер от чахотки, что, конечно, преувеличено.

Но если быть честными: так ли уж хорошо писали и Толстой и Чехов? Тот же! Взять бы этого Чехова за туберкулезную бороденку да ткнуть носом в его чахоточные плевки, которые, к сожалению, уже засохли: — Не пиши, графоман! Не пиши! Не порть бумагу!

Как можно?! Заступники найдутся... Почитатели, библиографы, мемуаристы... А кто обо мне мемуары напишет? Кто меня, я вас спрашиваю, вспомнит и увековечит?..

От усталости и расстройства я выписывал вензеля ногами, спотыкался, покачивался. Мой тяжкий путь по мостовой был причудлив и зигзагообразен. Вдруг мне показалось, что я не сам иду по улице, а чьи-то пальцы водят мною, как водят карандашом по бумаге. Я шел мелким неровным почерком, я торопился изо всех сил за движением руки, которая сочиняла и записывала на асфальт и эти безлюдные улицы, и эти дома с непогашенными кое-где окошками, и меня самого, всю мою длинную-длинную неудачную жизнь.

Тогда я вырвался, круто затормозил, остановясь на полном разгоне, и чуть не упал, и посмотрел исподлобья в темное небо, низко нависшее над моим лбом. Я сказал не громко, но достаточно основательно, обращаясь прямо туда:

— Эй, ты, графоман! Бросай работу! Все, что ты пишешь, — никуда не годится. Как ты все бездарно сочинил. Тебя невозможно читать...

Было семь утра, но Зинаида уже поднялась и кормила Павлика манной кашей. При виде меня она дико обрадовалась и, защемив мою голову обеими руками, пригнула ее к себе и крепко поцеловала. Покачнувшись, я сел.

— Я знала, что ты вернешься... Я знала... Я знала... — твердила она, задыхаясь, и притискивала мое лицо к своему боку. — Ты — добрый, ты — умный, ты — великодушный... Ты понял, понял, наконец... Ах, Павел, Павел!..

Я осторожно высвободил голову из объятий и, чтобы сделать Зинаиде приятное, чмокнул ее в шершавую руку. Она всхлипнула.

— Ты ведь совсем вернулся?.. Ты больше не уйдешь?.. Мы больше не будем ссориться?.. Да? Да?!

У меня не было ни сил, ни желания отвечать отказом, и я ответил: да!

— Да! — сказал я не очень весело, но вполне откровенно. — Я принял решение. Пора оставить. Писателем мне не быть. Ничего. Проживу и так. Поступлю на службу, буду воспитывать Павлика... Ничего.

Она хлопотала вокруг меня, как будто я был знаменитостью. Она подала чистое полотенце, и стакан молока, предназначавшийся обычно ребенку, был торжественно передан мне — на поправку здоровья.

— Ты плохо выглядишь, — сокрушалась Зинаида. — И глаза у тебя какие-то мутные... Но ничего, ничего, теперь все позади.

Она обещала мне новую жизнь с этого дня и говорила, что теперь дом наш будет полон света и радости, и мы будем ходить в театры, в кино, а чтобы у меня остались какие-то мужские причуды, она разрешает мне купить охотничье ружье или еще лучше — если я увлекусь рыбной ловлей. На худой конец она допускала, что я начну выпивать иногда, как это случалось со мною в дни молодости.

— Ладно, ладно. Ты опоздаешь на работу, — напомнил я ей и добродушно хлопнул по задку. Некрасивое лицо Зинаиды сморщилось в улыбке. Мне даже показалось, что Зинаида похорошела.

Когда она ушла на работу, мы с Павликом ополоснули посуду и смели крошки с клеенки.

— Ну, рассказывай, Павел, как живешь, что сочиняешь? — спросил я его в упор, но бодрым тоном.

Павел, потупясь, молчал.

— Не бойся. Я передумал. Пиши теперь, сколько хочешь. Я не отберу. Все, что я тогда говорил, было шуткой. Вот возьми...

Я нашел в кармане бумажный комочек и, расправив, подал сыну. Карандаш полинял, но разобрать буквы было еще возможно..

— Перепишешь начисто. Садись сюда и пиши.

Павел живо слезил под кровать за рисовальным альбомчиком. Пробило девять. С верхнего этажа послышались звуки трубы. Это верхний жилец, едва проснувшись, начинал первую трель.

Я тоже достал из портфеля стопку чистой бумаги. Я расположился напротив Павлика, постелив газету поверх клеенки, чтобы страницы не прилипали.

— Смотри, маме не говори!..

Мне не хотелось ее обманывать и нарушать данное слово. Я честно обещал покончить с писательской страстью, от которой мы все так долго страдали. И непременно покончу, как только напишу последнюю вещь — свою лебединую песнь. Многие годы этого ждал, к этому приближался. Лебединая песнь о самом себе. Нет, нет, не для печати. Пускай сын хотя бы прочтет. И на этом брошу...

Павел уже копировал стершиеся каракули.

— Пиши, Павел! Пиши! Не бойся. Пусть над тобою смеются, называют графоманом. Сами — графоманы. Кругом — графоманы. Нас много, много, больше, чем надо. И мы напрасно живем и бесполезно умираем. Но кто-нибудь из нас дойдет. Или ты, или я, или кто-нибудь еще. Дойдет, донесет. Пиши, Па-



вел, сочиняй свои сказки про своих смешных карликов. А я буду про своих... Мы с тобою придумаем столько сказок... Не сосчитать. Только ты смотри — маме ничего не говори.

Трубач над моей головой дудел в полную громкость, точно хотел воспрепятствовать. Но мозг мой был проворен, как после долгого сна, и душа полна вдохновения. Я взял чистый лист и большими буквами написал сверху название:

## ГРАФОМАНЫ

Потом подумал и приписал в скобках: (Из рассказов о моей жизни).

1960

# ГОЛОЛЕДИЦА

## От автора

Я пишу эту повесть, как потерпевший кораблекрушение сообщает о своей беде. Сидя на уединенном обломке, или на безжизненном острове, он кидает в бурное море бутылку с письмом — в надежде, что волны и ветер донесут ее до людей и они прочтут и узнают печальную правду, в то время как бедного автора давно уже нет на свете.

Доплывет ли бутылка? — вот вопрос. Вытащит ли ее за горлышко цепкая рука моряка, и прольет ли моряк на палубу слезы сочувствия и сожаления? Или морская соль постепенно пропитает сургуч и разъест бумагу, и безвестная бутылка, наполненная терпкой влагой или разбившаяся о рифы, останется лежать без движения на дне пучины?

Моя задача еще сложнее. Не обладая ни научной, ни литературной опытностью, я хочу, чтобы труд мой был напечатан и получил бы признание. Лишь таким окольным путем могу я рассчитывать дойти до тебя, Василий. О Василий! Поверь, мне не нужны деньги и почести, мне нужно только твое участие. Я не ищу других читателей кроме тебя, хотя через многие руки, быть может, проплывет моя повесть, прежде чем случайно попадетсЯ тебе на глаза.

Что же делать! Житейское море огромно, а бутылка такая ничтожная, и ей надо покрыть тысячи миль, чтобы найти адресата.

Прости, Василий! У меня нет твоего адреса. Я не знаю даже твоей фамилии, не успел узнать, а когда спохватился — было поздно. Но я знаю: ты живешь, затерянный — подобно мне — в волнах времени и пространства, и я надеюсь — вдруг ты зайдешь когда-нибудь в букинистический магазин и вдруг увидишь на прилавке мою ветхую книгу.

Вспомнишь ли ты меня? Дрогнет ли твое сердце, и оживут ли в нем туманные образы прошлого? Протянешь ли ты мне руку дружбы и помощи?

Ах, Василий, я прошу тебя об одном: разыщи Наташу. Понимаешь — она должна жить где-то рядом с тобой. Не удивляйся, ее тоже зовут Наташа, хотя это совсем не та, а другая Наташа, не похожая на ту. Но мне кажется — имена совпадают. Представь себе, она — тоже Наташа, Наташа! И если ты не узнаешь ее по моим описаниям, я все-таки надеюсь — сердце тебе подскажет кого надо...

Так вот, я прошу тебя, Василий, найди Наташу и женись на ней поскорее, пока ты жив, пока не поздно, непременно женись, хотя, быть может, — она старше тебя и у нее дети, а ты, кажется, тоже человек семейный... Все равно, брось жену и живи с Наташей, как я тебе говорю. Понимаешь, это единственный случай встретиться с нею, и если мы его упустим — мы опять потеряем друг друга из виду...

Не хмурься, Василий. Я сейчас все объясню. Я изложу по порядку, как было дело, и постараюсь выполнить это хорошо и художественно. Пусть меня напечатают большим тиражом: так мне будет легче на тебя наткнуться. Ничего, не беспокойся. Я читал много повестей и романов и представляю, как это делается. А главное — у меня есть время. В конце концов, за оставшуюся долгую жизнь почему бы мне не стать известным писателем?

А ты, Василий, следя за ходом рассказа, прислушивайся к себе повнимательней. Быть может, что-то в тебе все-таки шевельнется и ты окажешь помощь страдальцу, потерпевшему крушение... И сидя со своей Наташей в какой-нибудь красивой беседке, ты обнимешь ее меланхолично за талию и скажешь словами поэта:

Не пой, красавица, при мне  
Ты песен Грузии печальной:  
Напоминают мне оне  
Другую жизнь и берег дальний.  
Увы! напоминают мне  
Твои жестокие напевы  
И степь, и ночь, и при луне  
Черты далекой, бедной девы.  
Я призрак милый, роковой,  
Тебя увидев, забываю;  
Но ты поешь — и предо мной  
Его я вновь воображаю...

Кстати, это сочинил тот самый Пушкин, которого ты хорошо знаешь. Но ты ошибся, когда сказал, что Пушкина расстреляли. Его убили на дуэли, из пистолета. Уж это я твердо знаю, поверь мне.

И еще: стоит ли давать Наташе мою грустную повесть? Читай ей лучше Пушкина и люби ее, как я любил. И будьте счастливы.

Это все, о чем я вас прошу.

## 1

Мы сидели с Наташей на Цветном бульваре. Мы были одни, была гололедица, и прохожие в этот вечер не решались выходить на бульвар. Мы с Наташей составляли исключение, потому что любили друг друга и не боялись в тот вечер упасть и ушибиться.

— Безобразие, — сказал я. — С ума можно сойти. Если погода не переменится и к завтраму не выпадет снег, я отказываюсь в этом году встречать Новый год. Ты встречала что-нибудь подобное в конце декабря? И я тоже не помню.

Это все атомные испытания, гонка вооружений. Летом — холод, зимой — дождь. Достукались.

И я хотел развить мысль насчет радиации воздуха, по вине которой того и гляди начнется ледниковый период. Мы отпустим косматую шерсть и займемся разведением мамонтов. Наташа перебила меня. Она вдруг стала уверять, что в раннем детстве однажды видела снегопад в разгаре июня. Птицы устроили дикий шум, насекомые скрылись, а бабушка всем говорила, что это дурная примета. Это было, уверяла Наташа, под Саратовом, летом, на даче, в 1928 году.

Ее рассказ показался мне в высшей степени фантастическим. Ничего этого не могло быть по той простой причине, что Наташе тогда было два года и запомнить свой снегопад она бы не сумела. Я по себе хорошо знал, что такого не бывает. Объем нашей памяти имеет границы. А тут еще насекомые, бабочки, бабушка...

— Не морочь мне голову, — сказал я сердито. — Или ты раньше меня обманывала и скрывала свой возраст. Ты, наверное, родилась не в 26-м, а в 23-м году.

Это я сказал, конечно, чтобы ее подразнить. Мне было чуточку обидно, потому что я думал, что знаю ее насковзь. Мы были достаточно знакомы и к тому времени успели рассказать друг другу все, что помнили о себе. Не исключая таких моментов, про которые обычно избегаешь вспоминать и рассказывать. Хотя мы не были женаты и жили пока порознь, прошел целый год, как я заставил ее окончательно уйти от Бориса и встречался с нею каждый день или через день. И вдруг выясняется, что Наташина жизнь полнее событиями, чем я полагал. Например, Наташа, еще не умея ходить, играла спичками и подожгла себе волосы, и они горели желтым пламенем, и оба всем этом она хорошо помнит.

Я был старше ее, умнее, начитанней, и я не привык уступать. Поэтому я тогда же вступил с ней в спор по части смутных воспоминаний и делал это тем настойчивее, чем меньше у меня было шансов на выигрыш.

— А я вот помню... — не унималась Наташа.

— А я вот тоже помню... — отвечал я.

И я ворошил свои младенческие впечатления в надежде там отыскать что-то давно забытое. Наверное, это и послужило психологической предпосылкой физиологических изменений, которые произошли со мною в тот вечер и изменили в короткий срок всю нашу жизнь.

Сейчас, по прошествии многих лет, я затрудняюсь сказать в точности, как было дело. Может быть, я заранее был к этому подготовлен всем ходом своего развития и мне, как говорится, на роду было написано испытать все то, что я впоследствии испытал. Не знаю, не знаю... Во всяком случае в ту минуту я ни о чем таком не думал, а просто колотился в барьеры памяти, пытаюсь раздвинуть их и вспомнить, что было раньше. И вот какая-то роковая преграда неожиданно рухнула, и я провалился в пустоту, почти физически пережив неприятное чувство падения. Я падал, и падал, и падал, ничего не понимая, и когда пришел в себя, вся окружающая обстановка была не такой и сам я был не совсем таким.

Я находился в длинном ущелье, стиснутом рядами голых гор и гладких холмов. Дно его покрывала корка льда. По краю льда, перед отвесными скалами, росли деревья, тоже голые. Их было мало, но близость лесного массива давала о себе знать глухим ветреным шумом. Пахло падалью. Во множестве светились гнилушки. Впрочем, то были не гнилушки, а скорее всего это были клочья Луны, растерзанной волками и ожидающей срока, когда ее кости, хрящи, мослы опять обрастут белым светящимся мясом и она поднимется в небо под завистливый вой волков...

Но понять и обдумать все это я не успел: на меня бежал с раскинутой пастью зверь. Он быстро-быстро перебирал невидимыми ногами, и я мог догадаться, что ног у него не четыре и даже не пять, а по крайней мере столько же, сколько у меня пальцев на ногах и на руках, вместе взятых. Вот сколько. Он был пониже мамонта, но зато упитаннее и здоровее самого большого медведя, и, когда он приблизился вплотную, я заметил, что брюхо он имеет прозрачное, как светлый рыбий пузырь, и там ужасно бултыхаются проглоченные живьем человечки. Должно быть, он был так прожорлив, что глотал их не жуя, и жертвы, попавшие к нему в желудок, все еще вертелись и подскакивали.

Конечно, те ощущения я передаю приблизительно, своими словами. Тогда у меня в голове и слов никаких не было, а были, можно сказать, одни условные, рефлексные и разные, как их теперь называют, религиозные пережитки, и я, терзаясь страхом, бормотал заклинания, характер которых я сейчас не решусь воспроизвести на бумаге. Но в то мгновение, помнится, эти бессмысленные заклинания возымели определенное действие, и смягчившееся чудовище удалилось вдоль скал, не тронув меня, только выбросило угрожающе вверх сноп электрических искр. И наверное потому, что эти искры в моем затемненном мозгу все-таки отозвались «электрическими», я понял тотчас, что это мимо меня проехал безвредный троллейбус, и утраченное состояние настоящей минуты вновь вернулось ко мне.

Оказалось, что я продолжаю мирно сидеть на бульварной лавочке, а рядом преспокойно сидит Наташа, которая даже ничего не заметила, а большой вечерний неутихающий город гудел и стонал вокруг нас, точно лес в непогоду.

— Если погода не переменится, — сказал я в безотчетной тоске, — и завтра не выпадет снег, я отказываюсь в этом году встречать Новый год.

Но копаться в своем мозгу я больше не рисковал. Этот случай с провалом памяти на меня ужасно подействовал. Стараясь не волноваться и понапрасну не ломать голову, я молча вдыхал родную вонючую мглу, пропитанную парами бензина и гнилым морозящим светом уличных фонарей, который весьма отдаленно напоминал свет луны и безусловно имел вполне реальное, электрическое происхождение. С некоторой опаской посматривал я на дома, на фонари и деревья, и на троллейбусы, то и дело шнырявшие вдоль домов и вдоль деревьев, и все это было таким настоящим, таким похожим на себя и непохожим ни на что больше. И еще я заметил, что по ледяной выпнутой корке Цветного бульвара, покачиваясь как балерина, идет полная женщина.

Она проходила от нас на почтительном расстоянии, и разглядеть ее возраст и черты лица не было никакой возможности. Но ее грузная фигура, весело покачиваясь, почему-то внушала мысль, что старуха и в самом деле когда-то плясала в балете и даже пользовалась в роли Одетты успехом у адмирала Курбатова. Откуда поступила ко мне эта информация, я не мог понять, потому что впервые в жизни видел эту даму и воспринимал ее биографию как результат чистой гипотезы. Проверять свои домыслы я не имел охоты. Но меня не покидало чувство, что стоит моей балерине поравняться с фонарным столбом, вон с тем, с третьим по счету, к которому она приближалась, как с ней случится несчастье. А именно: мне казалось, что старуха должна поскользнуться на том самом месте, которое я предугадывал, и я даже подумал, не дать ли ей об этом сигнал, но из любопытства сдержался и, затаив дыхание, следил за ее движением. И когда она, добредя до предугаданной точки, свалилась как по приказу, взмахнув короткими ручками, я почувствовал в глубине души что-то вроде угрызений совести, как если бы сам подтолкнул ее на скользком месте.

Мы с Наташей кинулись тянуть ее с двух сторон. Перепуганная старуха никак не хотела вставать и все садилась промокшим задом на ледяную поверхность, и говорила, что не может ступить правой ногой, потому что там у нее сломалась главная кость. Она уверяла страшным шепотом, будто, падая, слышала какой-то треск и хруст. Из ее беззубого рта пахло хорошим портвейном.

Пока мы возились и мучились с этой пыхтящей кучей, вся ситуация в моем уме окончательно прояснилась. Старуха явно преувеличивала свое печальное положение. Ни о какой правой ноге не могло быть и речи, потому что эту ногу она утратила в катастрофе, лет тридцать тому назад, и взамен ее, по секрету, пользовалась прекрасным протезом, который и был предметом ее истинного беспокойства. Но я мог бы поклясться, что замечательный аппарат, выполненный из алюминия, в Берлине, на средства адмирала Курбатова, ничуть не пострадал при падении и нисколько не поцарапался.

— Вставайте, Сусанна Ивановна, вы получите радикулит, — уговаривал я строго мнительную женщину и даже прикрикнул на нее под конец, чтоб как-то воздействовать...

Зато потом ее восторги превзошли все ожидания. Убедившись в завидной прочности немецкого алюминия, она благодарила меня с чисто французской горячностью. Ей не казалось странным, что я, не будучи с нею знаком, называю ее Сусанной Ивановной. Она воспринимала все как должное и твердила, что счастлива встретить такого любезного молодого человека, который несомненно помнит ее в незабываемой роли Одетты на сцене Санкт-Петербургского Мариинского театра.

— Ах, если б ко мне возвратились мои девятнадцать лет! — вскричала Сусанна Ивановна и, приложив к беззубому рту кончики рваных перчаток, послала мне поцелуй. С большим трудом мы с ней распрощались, пожелав как можно внимательнее передвигать скользкие ноги...

Наташа много смеялась и, конечно, выпытывала — откуда я знаю эту Сусанну Ивановну. Мне пришлось выдумывать туманную версию о каком-то жур-

нале, где будто бы была напечатана старая фотография молодой балерины, поразившая меня однажды в юношеский период моего увлечения историей русского театра. Наташа сказала, что ужасно меня ревнует, и с милой грацией разыграла ревность на своем лице. Потом она дурачилась и ласкалась ко мне, очень сильно ласкалась в тот вечер. Я, как мог, отвечал ей взаимностью...

Но образ Сусанны Ивановны не выходил из моей головы. Мне продолжало казаться, что старуху подстерегает несчастье. Нет, нет, с ногами у нее все будет в порядке — в этом я был уверен. Но мне вдруг открылись иные возможности ее скорой смерти. Я почему-то представил, что через два месяца она умрет от рака матки. И еще другие предчувствия копошились во мне...

Когда мы замерзли, Наташа спросила, как мы двинемся — пешком или на троллейбусе? Я долго не мог выбрать, какой вариант лучше. Насчет самого себя у меня не было опасений. Но мою Наташу я не вел, а почти нес на весу, как несут из магазина пакет с яйцами. О том, как яйца бьются, я старался не вспоминать.

Мы уехали на троллейбусе: уж очень было скользко.

## 2

Все-таки на другой день пошел мелкий снег и покрыл тонким слоем тротуары и мостовые. К ночи появилась иллюзия какой-никакой зимы, чистоты и порядочности, и я, поборов отвращение, дал Наташе согласие встречать Новый год вместе с ней и Борисом в одной незнакомой компании. Мне было ясно, что Борис на правах бывшего мужа давно выпрашивает у нее эту льготу. Наташа вторую неделю лезла ко мне с уговорами:

— Понимаешь, ему плохо. Нам с тобой хорошо, а ему плохо. У него, может, в жизни одна только радость — иногда видеть меня. Только видеть и ничего больше. Он даже предлагал, чтобы мы приходили вдвоем. И совсем в чужом доме, на нейтральной почве. Никто никого не знает...

Я не мог понять эту готовность Бориса сносить мое присутствие. Я бы на его месте такого себе не позволил. Но мне в конце концов было наплевать на его личные переживания, а Наташе я не хотел ни в чем отказывать, будто чувствовал уже тогда, что все это скоро кончится.

— Ладно! Чорт с вами, с твоим Борисом и с твоей филантропией! — сказал я Наташе за час до полуночи. И мы поехали в чужой дом, к незнакомым людям, захватив для приличия пару бутылок вина.

Как всегда это бывает в случайных компаниях, где народ сходится первый попавшийся, с бору по сосенке, время здесь тянулось медленно и тоскливо. Прокричав первые тосты и погалдев немного во славу наступившего года, все как-то внезапно ослабли, растерялись и присмирели. Каждый из нас, вероятно, с нетерпением ждал этой минуты и предвкушал ее за неделю, а то и за месяц, а вот собрались мы вместе за праздничным столом и вдруг выясняется, что делать нам абсолютно нечего и лучше бы мы пораньше легли спать. Но поскольку на

эту ночь возлагались надежды, никто не уходил, а все сидели и выжидали, и тарачили друг на друга заспанные глаза, точно думали, что кто-то из нас вот сейчас встанет, и что-то такое сделает, и сразу осуществит все наши надежды.

Жизнерадостный красавец кавказского происхождения, с лихими усиками над жгучим ртом, в течение получаса пытался внести веселье в нашу скучную обстановку, рассказывая анекдоты из быта сумасшедших. Когда же ему довелось с опозданием убедиться, что ни его сюжеты, всем давно опостылевшие, ни его преувеличенный восточный акцент ни у кого не вызывают даже простой улыбки, он тоже перестал дико скалиться и хохотать и затих в мечтательности, надув малиновые, безвольные, по-женски сладкие губы.

Летчик-испытатель с неестественно деловитым лицом беседовал со своей женой о домашних закупках, как будто у них не было случая поговорить на эту тему в другом месте. Холостяки, не имея иного выхода, бешено курили. Незамужние девицы, одна другой безобразнее, бегали попеременно в уборную, понуждая меня и Наташу всякий раз приподыматься и освобождать им дорогу между столом и диваном.

Пожалуй, один Борис не терял времени даром. Забившись в дальний угол, он не сводил с Наташи влюбленных жалобных глаз, и смотреть на него было тошно. Наташа, опустив ресницы, похожая на покойницу, позировала ему, сидя подле меня. Не вдаваясь в глубину всех этих отношений, я пил рюмку за рюмкой, пил и не закусывал.

Мой пьяный взгляд невольно тянулся к елке, на которой, наконец, зажгли свечи, и я потребовал, чтобы все другое в комнате погасили, предоставив одним свечам свободу действия. Они весело мигали и славно потрескивали, и создавали вокруг себя праздничную атмосферу, недостающую нам, и постепенно все мы, за исключением, может быть, одного Бориса, подпали под их влияние и как-то сгрудились и приютились подле нашего домашнего елочного иконостаса. На несколько минут в доме воцарилась торжественность, наверное, та самая, которую мы искали, придя сюда, и ради которой стоит иногда потерпеть в обществе чужих и противных тебе людей.

Но мало-помалу свечи подходили к концу, и меня вновь охватило недавнее чувство тревоги, рассеянное было спиртными парами и почти полностью исчезнувшее при виде елки. Я с беспокойством наблюдал, как ее огоньки, вспыхнувшие бойко и дружно, теперь выгорают с разной продолжительностью и с различным, я бы сказал, мимическим сопровождением. Должно быть, это объяснялось величиной фитилей и прочей технологией свечного дела, но меня по понятным причинам занимала и волновала совсем иная сторона этого предприятия.

Я не считаю себя пессимистом, но должен сказать со всей ответственностью, что если вдуматься повнимательней в существо жизни, то станет ясно, что все кончается смертью. В этом нет ничего особенного, и было бы даже не демократично, если б кто-нибудь из нас вдруг уцелел и сохранился. Конечно, всякому жить хочется, но как подумаешь, что Леонардо да Винчи тоже вот умер, так просто руки опускаются.



И все было бы ничего, когда бы в этом вопросе соблюдались полное равенство, братство и железная закономерность. Если бы мы, например, уходили с лица земли в организованном порядке, большими коллективами, серийно, по возрастным, например, или по национальным признакам. Отжила одна нация положенный срок и кончено, давай следующую. Тогда бы все, конечно, было проще, и неизбежность этой разлуки не имела бы такой волнующей и нервирующей остроты. Но в том-то и состоит главная сложность и вместе с тем пикантная прелесть существования, что ты никогда не знаешь в точности, когда ты перестанешь существовать, и у тебя всегда остается в запасе возможность превзойти соседа и пережить его хотя бы на лишний месяц. Все это сообщает нашей жизни большой интерес, риск, страх, ажиотаж и большое разнообразие.

И вот, взирая на свечные огарки, которые в моем нетрезвом уме как-то сместились и заместили всех нас, собравшихся здесь бездельников, я следил с интересом и душевным содроганием за их неравномерной кончиной.

Одни догорали так же беспечно, как жили, и даже усиливали к финалу расточительную яркость пламени. Другие, с середины пути, пускались в экономию, словно понимали, в чем дело, и рассчитывали оттянуть развязку как можно дальше. Но это им не всегда помогало, и случалось так, что какой-нибудь бережливый фитиль неожиданно потухал от переизбытка собственного парафина, не дотянув до дна подсвечника целых два сантиметра.

Третьи лишь в конце постигали весь ужас своего положения, и тогда они принимались метаться из стороны в сторону на жестяном ложе, бросая на стены и потолок преувеличенные рефлексы, и выпускать до отказа все соки и газы, и, захлебываясь, тонуть в своем заживо разложившемся теле, являя взору все признаки самой непристойной агонии.

Теперь-то мне понятно, что я допустил оплошность, увлекшись этой игрой разгоряченного ума. Но вторая моя ошибка, еще более жестокая и сыгравшая в моей судьбе такую же неотвратимую роль, как вечер на Цветном бульваре, заключалась в том, что я, поддавшись соблазну, выбрал из тех свечей самую, как мне казалось, подходящую и загадал на ней сроки моей жизни и смерти.

И что же получилось? Пока все свечки вокруг меня постепенно редели, я жил себе и жил в виде скромного огонечка, и уже в комнате сделалось совсем темно, а я в одиночестве не переставал коптеть, пережив, к моему удивлению, всех присутствующих по крайней мере лет на десять.

Кто-то встал, чтобы повернуть выключатель. Но я сказал — пусть будет темно и пусть сначала полностью сгорит последний огарок. И не спуская с него глаз, я мысленно вел счет, чтобы полностью измерить годы, причитавшиеся мне по закону: раз, два, три, четыре, пять, шесть...

В общей сумме, считая с достигнутым возрастом, я насчитал моей жизни восемьдесят девять лет, и, когда я дошел до восьмидесяти девяти, в комнату, едва освещенную, вошла медсестра или, может быть, простая больничная нянечка и, приблизившись к моему изголовью, склонилась над ним.

Искра жизни все еще тлела во мне: я умирал при полном сознании, медленно и спокойно, и никак не мог умереть. Вокруг меня храпели и слабо

бредили во сне соседи по палате; пахло карболкой, нечистотами; больничная нянечка, присев на казенную табуретку, с нетерпением поджидала, когда я отпущу ее спать. Ей очень хотелось спать, и она громко зевала, крестилась и почесывалась, и укоризненно поглядывала на меня, проверяя время от времени, умер я или нет, а я, хорошо сознавая правоту ее понуканий и свою бестактность, не имел физических сил сказать словами или дать ей понять каким-нибудь знаком, чтобы она ушла. Я только смотрел на нее с извиняющимся выражением, и только стыд перед этой доброй женщиной, которая одна в целом мире еще имела ко мне слабое отношение, — стыд, что я все еще живой, владел мною и доводил до отчаяния. Мне было так стыдно и скверно, что я поднялся и, торопливо задув огарок, включил в комнате свет...

...Осовелые глаза собутыльников и собутыльниц вопросительно уперлись в меня, точно я перед ними тоже был виноват и на мне лежала обязанность рассеять их пребывание в моем обществе. Кто-то, позевывая, предложил во что-нибудь поиграть — в шарады, например, или в фанты. И опять все понукающе посмотрели на меня, как будто я здесь был распорядителем и от меня все зависело. Тогда я воскликнул, стряхивая смешными ужимками паутину стыда и страха с облепленного лица:

— Внимание! Внимание! — воскликнул я и щелкнул пальцами, как выключателем. — Сейчас перед вами выступит знаменитый чтец-хиромант! Прорицатель прошлого и грядущего! Желающих прошу испытать!..

Сперва, конечно, никто не поверил в мой талант, да и мне самому плохо в это верилось. Но когда я начал с математической быстротой перечислять факты, и даты, и разные редкие детали из жизни летчика-испытателя, а он подтверждал всякий раз, что я опять угадал, все пришли в восхищение и в удивление и принялись наперебой меня просить и теребить...

Я мельком проглядывал диаграмму какого-нибудь лица и сразу называл год рождения, цифру зарплаты, номер паспорта, число аборт... Я предпочитал цифры, цифры, потому что они в наше время убедительнее всего говорят о реальной жизни.

— А будущее вы тоже предсказываете? — спросила одна студентка Института легкой промышленности.

— Кое-что предсказываю, — ответил я уклончиво. — Например, через неделю, на ближайшем экзамене вы получите «пять» по марксизму-ленинизму. Можете не готовиться, я назову билет, который вам достанется: 5-й съезд партии и 4-й закон диалектики.

Она захлопала в ладоши и радостно объявила, что ничего не будет учить, кроме этих вопросов.

— Как вы можете это знать? — допытывался красавец-грузин. — Кто вам поверит?

— Потерпите одну неделю и проверяйте, — возразил я, слегка задетый.

Но они не хотели терпеть, они желали тут же, немедленно удостовериться в моей способности предупреждать события, и тогда меня осенила одна идея:

— Хорошо, — сказал я. — Подождем одну минуту. Через минуту, я обещаю, на стене появится клоп. Вон там — видите литографию? Кажется — Джорджоне. Он опишет полный круг и уползет налево, под соседнюю окантовку...

И вскоре, как я предсказал, на стене появился клоп. Он вылез из-под спящей Венеры и, сделав обещанный круг, перекочевал на другую девушку — с разбитым кувшином. Женщины завизжали. Кто-то высказал мнение, что клопа никакого нет, а это с моей стороны чистый гипноз. Другие перешептывались, что клоп у меня дрессированный и я его сам подпустил незаметно из рукава. А скептически настроенный красавец-грузин сказал:

— Подумаешь — клоп. Клопа предсказать нетрудно. Мелкая вещь. Пускай он лучше предскажет, когда на всей земле наступит коммунизм...

Я пропустил эту фразу мимо ушей: грузин был провокатором.

Присматриваясь к нему краешком глаза, я заметил далее, что у него между животом и ключицами вырастают с большой быстротой настоящие женские груди. Вскоре его молодой, девический, но вполне оформленный бюст сделался совершенно доступен моему зрению. Усы, однако, и остальные черты мужчины он удержал за собою, и все это в сочетании с девичьей грудью сообщало ему вид истинного гермафродита.

Я не знал в первый момент, как это понять, и подумал, что, может быть, на меня действует мое нетрезвое состояние, и обрадовался такой возможности объяснения, позволяющей надеяться, что прочие странности и намеки последних дней также имеют в своей основе что-то хорошее и простое. Увы! эта надежда недолго меня обольщала: не вино и не водка, выпитые в изрядном объеме, а иные силы владели мною и заставляли видеть окружающий мир в превратном свете.

Вслед за грузином все прочие гости тоже начали как-то меняться. Контуры тел, росчерки лиц пришли в дрожание, напоминающее вибрацию сигнализационных приборов. Каждая линия перестраивалась и расплывалась, порождая десятки дышащих очертаний. У многих женщин выросли бороды, блондины темнели и переходили в брюнетов, а затем лысели до основания и вновь покрывались свежим волосом, и покрывались морщинами, и молодели, до того молодели, что становились похожими на детей, кривоногих, большеголовых, мутноглазых, которые в свой черед принимались расти, закаляться, толстеть и худеть.

При всем том каждый сохранял какое-то подобие первоначального облика, так что я имел возможность с некоторым трудом распознавать их и беседовать с ними, хотя теперь я ни в чем бы не посмел поручиться в их судьбе и жизненном поприще.

Еще недавно я твердо знал, кто из них вор, а кто двоеженец, и кто тут тайная дочь беглого белогвардейца, а сейчас все смешалось и находилось в развитии, и я не мог понять, где кончается один человек и начинается следующий. Когда один молодой инженер по фамилии Бельчиков обратился ко мне учтиво и предложил угадать, в каком году он родился, у меня моментально чуть не вы-

летела изо рта дикая цифра, нарушающая все законы, установленные природой: 237-й год до нашей эры!

Этот ответ пришел мне на ум помимо воли, автоматически, под воздействием, видимо, тех изменений, какие произошли в Бельчикове. На инженере эфемерно светилась старинная пожарная каска, а под его широким шерстяным костюмом свешивались белые простыни, в которые он весьма неловко завернул рослое тело, оставив неубранными голые ноги в брюках. Но, разумеется, не эти брюки, а пожарная каска и какие-то другие неуловимые элементы вдохновили меня на мысль, что инженер Бельчиков родился в 237-м году. И не просто в 237-м году, а до нашей эры.

К счастью, я не высказал это вслух: каска рассеялась в воздухе, а простыни заволновались и оттуда появилась фигура не слишком юной, но вполне еще дееспособной красавицы — безо всяких простыней. Я, не колеблясь, узнал в ней проститутку, тоже, должно быть, довольно древнего происхождения. Всем своим телом она делала веселые знаки, но мой глаз не успел насладиться ею, как легкомысленное создание исчезло, оставив вместо себя не то попа, не то просто скопца мужского пола. Этот в свою очередь, подрожав две секунды, превратился опять в проститутку, но — другую, показавшуюся мне менее привлекательной, чем та, которая была вначале. И так они менялись и соревновались друг с другом, монахи и проститутки, проститутки и монахи, выступая всякий раз в новом качестве и в разной цене, покуда не достигли опять положения инженера Бельчикова. Он стоял предо мною, учтиво повторяя вопрос:

— Когда я родился, определите, пожалуйста...

Пока он был инженером и не успел стать никем другим, я сказал торопливо, что он родился 1 марта 1922 года в городе Семипалатинске, а чтобы он больше не смел приставать ко мне с глупыми вопросами, я добавил во всеуслышание, что родители у него до революции держали в Семипалатинске мясную лавку с приказчиком, а не были крестьянами-батраками, как он любил писать в своих анкетах. При этих словах инженер Бельчиков покраснел и испугался, и, испугавшись, он сызнава начал мелко дрожать и срочно перестраиваться.

Но раньше мне казалось, что все это совершается в прошлом, в древние века, во всяком случае никак не позднее 1922 года нашей эры. Теперь же его куртизанки развивали деятельность, а суровые аскеты ее погашали и замаливали — на ином, высшем этапе исторического процесса, знаменуя, должно быть, междоусобной борьбой дальнейшую эволюцию инженера Бельчикова. Прикинув возможные границы их мимолетных существований, я убедился, что мы мало-помалу добрались уже до середины двадцать четвертого века. Но они все мельтешили передо мною, намекая своим поведением, что даже в прекрасном будущем мы не освободимся до конца ни от поповского дурмана, ни от женской слабохарактерности, хотя все это, конечно, примет новые социальные формы и будет выглядеть Совсем иначе...

Спешу оговориться: я не собираюсь из этого делать никакой теории и не хочу ни подо что подкапываться. Мне хорошо известно, что всякий человек, будь то хотя бы сам Леонардо да Винчи, есть производный продукт экономиче-

ских сил, которые все на свете производят и экономят. Я желал бы добавить к этому только одно замечание, что человеческий, так сказать, индивидуум, характер, личность и даже — если угодно — душа — тоже не играют в жизни никакой роли, а есть лишь опечатка нашего зрения, вроде пятен в глазу, возникающих в тех, например, случаях, когда мы тычем в него пальцем или долго, не мигая, смотрим на яркое солнце.

Мы привыкли, что люди ходят в воздухе, который кажется нам пустым и прозрачным, тогда как людские фигуры, овеваемые ветерком, имеют видимость твердости и большой густоты. Вот эту равномерную плотность и законченность силуэта, выступающего особенно хорошо на светлом воздушном фоне, мы ошибочно переносим на внутренний мир человека и называем это «характером» или «душой». На самом же деле души — нет, а есть лишь отверстие в воздухе, и сквозь это отверстие проносится нервный вихрь разобщенных психических состояний, меняющихся от случая к случаю, от эпохи к эпохе.

Когда я выше упомянул, что в судьбе инженера Бельчикова видное место занимали распутницы и попы, я не хотел ничем задеть этого славного человека, а попросту констатировал общее положение дел. Не сам инженер Бельчиков, а тот, кто в настоящий момент жил под его псевдонимом, точнее сказать — та невыразимая дырка, которая в данный отрезок времени была заполнена его инженерским, Бельчиковским состоянием, в другие времена служила пристанищем совсем иным состояниям, регулярно обновлявшимся, — уж я не знаю зачем, может быть, в целях какого-нибудь исторического баланса.

Любой из нас, если будет к себе внимательным, обнаружит без труда самые неожиданные рецидивы прошедших и будущих состояний, вроде, например, желания украсть, убить или продаться за хорошие деньги. Я про себя честно скажу, что иногда сильно испытывал в этой самой, с позволения выразиться, душе и не такие еще позывы, и вы тоже все это у себя найдете в большом количестве, если не станете хитрить и бесстыдно увиливать. Главное — не лицемерьте, и вы поймете, что нет у вас никакого права говорить — «он — вор», а «я — инженер», потому что никакого «я» и «он», в сущности, не существует, а все мы — воры, и проститутки, и, может быть, еще хуже. Если вы думаете, что вы не такие, значит, вам временно повезло, а в прошлом, хотя бы тысячу лет назад, мы все были такими или в будущем непременно достигнем этого уровня, о чем нам без умолку твердят наши сладостные воспоминания и горькие предчувствия...

Впоследствии я кое-как овладел опасным искусством видеть дальше, чем это установлено нашей природой. Я научился контролировать себя, и регулировать, и иметь дело с людьми, как если бы они взаправду находились в постоянных границах своей личности и биографии. Но в ту минуту мне казалось, что меня окружают не два десятка, а по крайней мере две сотни движущихся физиономий. Я скользил глазами по их поверхности, боясь угодить в полынью — глубиной, быть может, в пятьсот, в тысячу и в десять тысяч лет. Ужас Цветного бульвара, переселивший меня в эпоху ископаемых троллейбусов, стыд и позор моей недавней смерти призывали к осторожности, а я не мог остановить раз-

езжающиеся глаза, которым ни один предмет не казался достаточно прочным и достоверным.

И тогда, ища поддержки, я обернулся к Наташе, хотя знал заранее, что этого нельзя допускать. Ведь понимал же я, что Наташа тоже была человеком и у нее, следовательно, могли появиться какие-нибудь усы на лице, не говоря уже о признаках более радикальных. Мне не было вполне ясно, какие события на нас надвигаются, но я на всякий случай избегал на нее смотреть слишком пристально, потому что мог, значит, догадываться, что с такими вещами шутить не следует...

И все-таки, ловя глазами опору, я посмотрел на нее и в первый момент был обнадежен, не найдя там ни усов, ни бороды, ни других безобразий, способных в один миг испортить всю красоту. Но вместе с тем голова Наташи тоже слегка отсутствовала. Я угадывал ее скорее по привычке и, чем больше приглядывался, тем явственнее различал угрожающее отсутствие черепа, доходившее почти до шеи и до краешка подбородка. При этом тело Наташи не падало и не сползло вниз, а выпрямленно покоилось в кресле, и пальцы ее поправляли невидимую прическу, выделявая в пустом пространстве беспочвенные пируэты.

Мне стоило труда, лавируя глазами, восстановить истину в Наташиной внешности, собрав по порядку ее лицо в голову, как поступают реставраторы с разбитыми вазами. Но я не хотел думать, как трескаются и разлетаются в прах эти бьющиеся сосуды, если уронить их на тротуар, или ударить ледышкой, или, предположим, с какой-нибудь высоты сбросить на них нечаянно какую-нибудь твердую тяжесть. Я вообще старался поменьше размышлять о случившемся, потому что Наташа была слишком хрупка для этого и могла опять не выдержать внезапного столкновения с моим шатким сознанием.

— Пойдем домой, Наташа, — сказал я негромко, ощущая в сердце усталость и какое-то безразличие. Чувство непоправимой утраты было так велико, что меня почти не коснулось высказывание Бориса, который вдруг сказал из своего угла:

— Скажи мне, кудесник, любимец богов, — проговорил он с кривой улыбкой. — Угадай попробуй, чем я занимался в прошлое воскресенье с десяти до одиннадцати?!

Это были единственные слова, которые он произнес, и вся зависть, накипевшая в нем, и ревность, и срамота сосредоточились в этом вопросе, выпущенном из угла. Он даже не пощадил Наташу, а так прямо в ее присутствии назвал день и час — «в прошлое воскресенье, с десяти до одиннадцати», чтобы тем сильнее позлорадствовать надо мной изнутри и заодно испытать на практике тонкость моей проницательности.

При других обстоятельствах я избил бы его на месте и натворил бы, наверное, массу других безумств. Быть может, в порыве гнева я отказался бы от Наташи, вернув ее Борису с брезгливым определением. Но тут я знал о ней больше, чем он мог представить. Посреди всех несчастий, свалившихся на меня и готовых свалиться в самое ближайшее время, мне казалось не столь существенным,

что Наташа мне изменяла с десяти до половины одиннадцатого в прошлое воскресенье. Не до одиннадцати, а до половины одиннадцатого, если уж быть пунктуальным...

Не глядя на нее и не отвечая Борису, я сказал мягко и медленно, как если бы ничего не случилось:

— Пойдем, Наташа, домой. Пойдем, пожалуйста.

Она сразу встала и прошла со мною по комнате, обхватив меня под руку своей теплой рукой. Я был ей признателен за этот знак постоянства. Что ж из того, что Наташа понемногу мне изменяла, уступая мольбам и воздействиям своего бывшего мужа? Она делала это из жалости и по старой привычке. А любила она только меня, любила систематически, как могла и пока могла... Это надо ценить в наше смутное время.

В прихожей меня поймал летчик-испытатель и, притиснув к вешалке, захотел посоветоваться. Он выпытывал шепотом, по секрету от жены, когда ориентировочно ему предписан конец. Его волновало, заводить ли ему ребенка и стоит ли покупать холодильник.

В ту ночь я дал зарок никому не говорить о смертных исходах, дабы не расхолаживать в людях романтическое настроение и сохранять в них бодрость духа и здоровую предприимчивость. Но здесь мне пришлось сделать уступку. Смерть в его профессии летчика-испытателя была регулярным занятием и возбуждала в нем спокойное отношение, а не являлась предметом праздного любопытства. Поэтому я сказал, как мужчина мужчине, что жить ему остается пять с половиной лет, после чего, набирая рекордную скорость, он превратится в пар в районе Тихого океана, не успев понять технической причины столь нечувствительного исчезновения.

При этом известии он страшно развеселился. Пять с половиной лет показались ему немалым сроком. На это он никак не рассчитывал, ожидая, что все произойдет значительно быстрее. Теперь он мог себе позволить покупку холодильника и наслаждение с женою, не омраченное противозачаточными средствами, и радовался, как дитя.

— А признайся, браток, — прохрипел он, трясясь от хохота и колотя меня по плечу. — Признайся — клоп у тебя ученый, дрессированный, вроде собаки? Ловко ты нас разыграл с этим своим клопом. Расскажи, открой военную тайну, я никому не скажу...

Этот летчик легко поверил, когда я предсказал ему смерть в ракете через пять с половиной лет. Но понять, как можно предвидеть переползание клопа по стене, — было свыше его сил.

Глухарь замертво скатился с березы, словно его дернули за веревку. Я спустил курок и, прицелившись, вижу, что он сидит на суку, здоровенный черный петух, и глядит на Диану. Мы слезли с коней и поскакали. «Ни пера, ни

пуха», — Катенька в розовом капоте машет ручкой с веранды. Прыгнув в седло, я сбегаяю с крыльца и натягиваю сапоги. «Пора, барин, вставать, скоро светает», — кричит мне в ухо Никифор. Мои руки обняли его тугие икры: «Не покидай нас, ради Бога, ради сына твоего умоляю...» Он смотрит в сторону, бледный от злости: «Сударыня, нас могут заметить». Я взял скальп в зубы и поплыл. На середине реки мне сделалось дурно. Не разжимая рта, я погружаюсь...

— Скажи, Василий, кто такой Пушкин? — спрашивает меня жена за обедом.

— А это, милочка, один такой древнерусский писатель. Пятьсот лет тому назад его расстреляли.

— А кто такой Болдырев?

— Это, милочка, тоже один великий писатель. Автор пьесы «Впотьмах» и многих стихотворений. Двести лет назад его расстреляли.

— И все-то ты знаешь, Василий, — говорит жена и вздыхает.

Я стреляю из пушки, я стреляю из арбалета, я стреляю из катапульти. Они бегут. Мы бежим, бежим и вбегаем в город.

— Пойдем в подвал, — говорит Бернардо. — Есть одна девушка. К сожалению, уже умерла, но еще не закончена.

Мы спускаемся. Девушка лежит на камнях — животом вверх. Ее лицо прикрыто задранной юбкой.

— Не годится, — говорю я. — Что скажет Дева Мария?

— Ей теперь все равно, — возражает Бернардо.

Он берет доску и подкладывает ей под крестец. Перекрестившись, я ложусь первым. Бернардо жмет ногой на рычаг. Девушка покачивается подо мной, точно живая.

— Поторапливайся, — говорит Бернардо.

— Молчи, не мешай мне, — отвечаю я и зажмуриваюсь...

— Я люблю тебя, Сильвия!

— Я люблю тебя, Грета!

— Я люблю тебя, Христофор!

— Я люблю тебя, Степан Алексеевич!

— Я люблю тебя, Василий!

— Я люблю тебя, мой котенок, моя пуговка, моя устрица, мой бутербродик!.. — говорят он они мне и целуют в губы.

Тьфу!

Слепень бьется в стекло. Снег сверкает на солнце. В графине стынет молоко. Митя чихает.

Раз чихнул — обвал в Гималаях, обломки неба погребают нас вместе с носилками.

Два чихнул — молния ударяет в храм Пресвятой Троицы, гремит гром, горит крыша сарая, горят стога с сеном.

Три чихнул — наводнение, пастор Зиновий Шварц верхом на корове переправляет стулья в чехлах.



— Митя! — говорит мне дядя Савелий, откладывая «Московские ведомости». — Если ты не перестанешь чихать, я тебя высеку...

Несколько дней я провел дома, предаваясь этим видениям. Они были отрывочны, бессистемны, и мне никак не удавалось отделить одну мою жизнь от другой и расположить их в должном порядке, по восходящей линии. С другой стороны, отсутствие промежуточных звеньев, соединяющих смерть с рождением, также интриговало меня с научной точки зрения. Но, видно, подземные перегоны мне не дано было постичь, и потому логика всех этих превращений от меня ускользала и я не понимал, кому понадобилось делать из меня посмешище. То индеец, то, видите ли, итальянец, а то попросту невинный ребенок Митя Дятлов, скончавшийся неизвестно зачем восьми лет от роду где-то на рубеже 30-х годов 19-го столетия...

Лишь один раз предо мной приоткрылась завеса, опускающаяся в антрактах, и я увидел себя лежащим на столе, в чепчике, в кисейном платье, в позе трупа, вполне сформировавшегося и приуроченного к захоронению. Подле стола, не стесняясь, плакал навзрыд мой муж, а мои дети приподымались на цыпочки, с ужасом и любопытством взглядывая в лицо, уже начинавшее видоизменяться. Но сам я, живой человек, смотрел на эту сцену откуда-то сбоку и свысока, и я тоже плакал и кричал во весь голос, чтобы они подождали со мною проститься, потому что, может быть, я соберусь еще с силами и встану. А также я просил, чтобы они убрали цветы, потому что меня мутило от этого запаха кондитерской. Но они не обращали на меня никакого внимания и скопом вынесли мое тело в дверь, как заведено, ногами вперед, и я бежал за ними по нашей мраморной лестнице, крича, чтобы меня подождали, и потерял сознание...

Иногда в этом потоке нахлынувших воспоминаний я утрачивал ясность мысли, кто я такой и где нахожусь. Мне начинало казаться, что меня нет, а есть лишь бесконечный ряд разрозненных эпизодов, случавшихся с другими людьми — до меня и после меня. Чтобы как-то восстановить и засвидетельствовать мою подлинность, я крался к зеркалу и сосредоточенно туда смотрелся. Но это мне помогало очень ненадолго.

Человек уж так устроен, что его наружность всегда кажется ему недостаточно убедительной. Глядя в зеркало, мы не перестаем удивляться: неужели вон то мерзкое отражение принадлежит лично мне? не может быть! В этой невозможности отделить себя от себя есть что-то фатальное в нашей жизни, и мне, наблюдавшему однажды свои похороны и только что описавшему это явление, позволительно будет заметить, что чувство, которое я испытал тогда, лишь повторило в удесятеренных размерах наши общие переживания перед зеркалом. Это — чувство несогласия с тем, что тебя выносят куда-то вовне, в то время как ты находишься вот здесь, внутри. Кто-то, я полагаю, сидит в нас и всякий раз горячо протестует, когда его хотят уверить, будто он и есть та самая личность, которую он видит перед собой. Поднесите ему к носу сколько угодно зеркал самой лучшей конструкции, он, сидящий в нас безвыходно и безвыездно, — глянет и замашет руками:

— Что вы, с ума сошли?! Разве это я?

— А кто же тогда?

— Нет-нет, это не я, не я! — запищит он вопреки очевидности.

Лишь хорошенькие женщины способны часами бесстрашно на себя любоваться. Но это объясняется тем, что они мало думают и смотрят на себя не своими глазами, а посторонним взглядом своих оценщиков и потребителей. Все же прочие, нормальные и умные люди, не выдерживают испытания зеркалом. Потому что зеркало, как смерть, противоположно нашей природе и вызывает в нас тот же страх, недоверие и любопытство.

Сомнительно, чтобы кусок стекла, обмазанный какой-то пакостью, был способен правильно передать всю глубину человека. И мы начинаем храбриться, кривляться и гримасничать, точно хотим этим выразить свое сомнение в призраке, который с независимым видом маячит перед нами. Дескать — ну тебя! пошел прочь! сгинь! рассыпья!

Ужасает, однако, то, что вопреки здравому смыслу он также начинает кривляться вслед за тобою, и дует на тебя, и бормочет прямо в глаза: «Рассыпья, дурак, рассыпья!»

Вот и не знаешь, кому верить — ему или себе? — и мучаешься над мировыми загадками, и сомневаешься, и строишь глупые рожи, пока не плюнешь на него в сердцах и не пойдешь прочь, довольный уже тем, что он тоже очищает позицию и вопрос о твоём бессмертии остается пока открытым.

Попробуйте часок-другой провести перед зеркалом, и вы поймете меня.

Но мои сомнения были еще мучительнее. Через несколько минут задумчивого противостояния передо мной возникали портреты тех самых существ, которые когда-то здесь обитали и глядели на себя в различные зеркала. Своей непривлекательной внешностью они оттесняли на задний план мое собственное исконное изображение — какое я всегда знал за собой и мог бы подтвердить это десятками фотокарточек. Теперь оно подергивалось ухмылками и прищурками, оно закатывало глаза, и финтило носом, и намыливалось для бритья, и слезилось, и пузырило щеки, и выдавливало из себя угри и прыщи, хотя сам я при этом ничего такого не делал, но сохранял изо всех сил спокойствие и серьезность. Мне приходилось сдерживаться из боязни, что мое лицо по старому обычаю захочет прийти в соответствие со своим отражением. Тогда бы, передразнивая чужие гримасы, я бы окончательно свихнулся как самостоятельная единица. Поэтому, подходя к зеркалу, я всякий раз принимал каменное выражение.

Не знаю, чем бы кончились эти опыты, если бы одна встреча не показала мне тогда всю рискованность этой игры с призраками памяти, грозившими прогнать меня с насиженного места.

Это был коричневый человек, маленький, пожилой, угловатый, похожий на летучую мышь со свернутыми перепонками. В качестве отражателя он пользовался какой-то стекляшкой, многогранно дробившей его фигурку, и без того достаточно ломаную. Но вот крупным планом показалась его голова, лысая, костистая, туго обтянутая темной, пропеченной кожей, и злобное изможденное личико глянуло на меня с такой пронзительностью, что я понял — он здесь, он

видит меня. Да, я видел его, а он видел меня, и мы замерли друг перед другом в испуганном изумлении, потому что он тоже вдруг заметил, что я смотрю на него, и был не меньше меня поражен и перепуган. «Боже мой, неужто я был когда-то таким?!» — мелькнуло у меня в голове, и далекое жгучее воспоминание коснулось моего мокрого, моего похолодевшего лба...

Пустыня. Кварц. Солнце. У меня в пальцах кристалл. Что-то будет со мною через семьдесят пять обновлений? Спрошу?.. Нельзя спрашивать! Спрошу! Никто не узнает. ...Вижу себя. Мудрая, красивая, кожаная голова... Кто — это? Кто — это? Белое, скользкое, в поту. Похож на улитку. До чего отвратителен! Какое-то мясо в тряпье. Веревка на шее. Удушенник. Выродок. Меня заметил. Глядит! Оттуда глядит!! Неужто видит? Видит, видит... Губы трясутся. И это — я, я! — таким буду?!

И почти одновременно с ним, на его темно-коричневом фоне, я увидал в зеркале себя — таким, каким он меня увидал тогда в своем кристалле, — и память о моем тогдашнем впечатлении от моего теперешнего состояния мигом нарисовала мне его: в немыслимом пиджачке, в галстучке, обвязанном вокруг его белой, ублюточной головенки... Я, кожаный, задохнулся от ненависти к тому, пиджачному и студенистому. И я бросился прочь от кристалла (от зеркала?) — по пустыне (по комнате?) и, упав на кровать (на песок?), закрыл лицо руками. Мне показалось, что он сделал то же самое со своим — я не знаю уже с каким — кожаным или студенистым? — лицом...

Так они встретились и разошлись —

— вспомнивший о том,  
КТО увидал,  
как он вспоминает,  
и увидавший того.  
КТО вспомнил,  
как он увидал.

Между ними лежал промежуток в 5000 лет. Их было двое. А меня среди них не было...

Из этого отсутствующего состояния меня вывела Наташа. Она спросила удивленно:

— Ты спишь? Среди дня? Ты чем-нибудь заболел?

Это нежное «ты», сказанное Наташей, относилось лично ко мне, потому что в комнате никого не было, кроме нее и меня.

— Да, — ответил я, радостно вставая с кровати. — Я спал. Я здоров. Я отлично себя чувствую. Я рад твоему приходу. Я так рад. Я так, я так тебя люблю.

И мы крепко расцеловались...

Визиты Наташи в эти дни были для меня просветлением. Она вносила в мой дом недостающую дозу реальности. Рядом с нею я чувствовал себя крепче и уверенней в жизни, не казавшейся мне такой уж непостоянной, если здесь была Наташа, про которую я твердо знал, что любил ее и люблю. Мне нравилось слушать ее рассказы о профессорах, экзаменах и дипломных работах (она писала диплом о Тургеневе и собиралась кончать в этом году). И то, как она в

пять минут приготавливала яичницу из трех яиц и создавала на салфетке иллюзию чистоты и уюта, и то, как она устраивала из какого-нибудь полотенца изящный фартучек на груди и сразу принимала вид молодой хозяйки, или то, как она перекусывала нитку возле самой иглы, — все это также нравилось мне и укрепляло в сознании, что все в этом мире стоит на своих местах.

Однако смотреть на нее слишком пристально я по-прежнему избегал. Не то чтобы я боялся сигналов об опасности, которая все равно не смогла бы от этого исчезнуть. А просто мне не хотелось лишней раз производить разрушения на ее лице, регулярно случавшиеся при слишком сильном всматривании. Поэтому я предпочитал целовать ее на ощупь, не глядя, а в разговорах с нею по преимуществу смотрел на пол или в окно.

Она, конечно, заметила эту мою перемену и думала, что я догадываюсь о ее связи с Борисом, но мы теперь не касались никаких скользких тем, на что у каждого из нас были свои причины. Новогодний успех в роли предсказателя я ей коротко объяснил давним знакомством с популярной системой научных опытов и развлечений Тома Гита. Наташа не стала меня спрашивать. Она только допытывалась чаще обычного, не разлюбил ли я ее из-за каких-нибудь пустяков, и на этот вопрос я говорил, что ничего в отношении к ней у меня не изменилось, и обнимал ее в доказательство, поглядывая на пол или в окно.

На дворе, несмотря на январь, стояла слякоть, и на соседних крышах висели сосульки, и, хотя дворники их скалывали почти ежедневно, они вновь вырастали, как грибы. И поглядев из окна на эту картину, удручающую меня своей неизбежностью, я принимался торопить Наташу с отъездом.

Разумеется, я не обмолвился ни о 19 января, которое приближалось, ни об угрозе, нависшей над нами из Гнездиновского переулка, с высоты большого, десятиэтажного дома, вполне достаточного, чтобы убить слабую женщину. Но я обдумал все, и все взвесил, и объявил Наташе про свое намерение провести вместе с нею отпуск вдали от города, на лоне природы. За пять суток, 14 января, я сказал, что нельзя медлить и сегодня мы уезжаем — поезд отходит ночью, билеты куплены. Однако никаких билетов у меня не было и денег тоже не было, и когда Наташа ушла складывать чемоданы, я решил прибегнуть к Борису за неимением лучшего выхода. Мне представлялось, что он не посмеет отказать в одолжении, если явиться к нему внезапно и без объяснений попросить взаймы, под расписку, полторы тысячи.

В самом деле, Борис сперва отнекивался и приbedнялся, но вскоре пошел на попятный, стоило намекнуть, в каком потайном отделении письменного стола хранятся у него деньги и в каких купюрах.

— Ты что же — насквозь видишь? Тебе бы сыщиком быть, — заявил он, некрасиво кривясь в заочневшей улыбке. — Кстати, могу поздравить. Студентка — помнишь — на вечере? Получила «пять» по марксизму. Все в точности, как ты предсказал. 5-й съезд партии и 4-й закон диалектики. А Бельчикова исключили из партии. Я проверял. Лавка в Семипалатинске полностью подтвердилась...

Мне было жаль Бельчикова. Я не хотел ему наносить жизненного ущерба, я просто тогда не подумал о возможных последствиях. Но с Борисом следовало держаться настороже. Борис был способен причинить крупные гадости. Вот и сейчас вокруг него витало хмурое облачко зеленовато-бурой окраски — верный признак злобы в сочетании с душевной подавленностью. Оно обволакивало его впалые щеки и завихрялось над теменем. Это было похоже на табачный дым, но Борис не курил.

— Послушай, — сказал он вкрадчиво и перестал улыбаться. — Бери полторы тысячи. Пожалуйста. Но зачем тебе Наташа? Куда тебе с ней? На твоём месте, с твоими феноменальными данными — женщины, автомобили. Дипломат высшего ранга, следователь в международном разряде. Ни один преступник не денется. А Наташа тебе помеха. Вся карьера насмарку. Она будет спать с кем придется. Я ее знаю. Направо-налево. Она со мною живет. Хотя ты ясновидящий, а у себя под носом не видишь. Она ко мне бежит каждое воскресенье. Можешь себе представить. На этой самой тахте...

И он пустился со мною в такую глубину откровенности, что я попросил его замолчать. В противном случае я пригрозил рассказать ему всю подноготную обо всех болезнях, от которых он сдохнет, если не перестанет.

Это не привело его в разум. Он захлебывался от страсти. Он силился опозорить Наташу, чтобы вернуть ее в жены. Притом он ужасно хвастал и безбожно преувеличивал, расписывая в ярких цветах, что было и чего не бывало.

Честно скажу, в этот раз мне было не до отгадок. Я нимало не заботился о правдивости моего предсказания, а городил все, что попало, и врал без зазрения совести — лишь бы его заглушить. Мне хотелось побольнее задеть это хилое тело, посмеявшее у меня на глазах любить Наташу с такой мстительностью и бесстыдством. Наши речи скрестились наподобие шпаг или, образно говоря, пистолетных выстрелов, которыми мы обменивались с большой скоростью на малой дистанции:

- Вот на этой тахте. Двенадцать способов. Во-первых, мы ложимся...
- ...Откроется туберкулез. За четыре месяца — пятнадцать килограмм чистого веса. Ты будешь трястись от кашля и надеяться, что это бронхит.
- В-третьих, она лежит, а я ложусь сбоку и — на боку...
- Резекция ребер. Правое легкое сгнило. В левом — каверна. Не считая язвы желудка. Ни сесть, ни встать...
- Я встаю, она тоже встает, и мы приступаем...
- Кашель в сочетании с рвотой...
- Поцелуи переходят в укусы...
- Испарина!
- Бедро!
- Желудок!!
- Грудь!
- Скелет!!
- Задницей!
- Задница!!



Понимал ли я тогда всю безвыходность положения? Что наши усилия не ушли далеко от хлопот обыкновенного дворника? Что мы расчищаем путь событиям и помогаем им соблюдать аккуратность?...

Нет, я гнал от себя эти мысли. Должно быть, инстинкт самосохранения поуждал меня к бесплодной борьбе, потому что только так мы еще можем жить.

Я говорил себе, что бояться смешно и глупо. Не война, не эпидемия, а пустяковая сосулька, миллионная доля случайности в совпадении попадания. Сделай два шага, перейди на другую сторону — и дело в шляпе. А ведь мы уедем отсюда за тысячу километров, отсидимся за Уральским хребтом и вернемся домой через месяц, когда сосулька растает или обрушится на случайно подоспевшего проходимца. Только бы, думал я, не спохватился Борис, только бы меня по его навету не сцапали на вокзале и силой не помешали нашему бегству из города, от этой не ко времени затянувшейся гололедицы.

Казалось, мы с места никак не съедем. Лишь когда поезд тронулся, а вагон дернулся и поплыл, у меня отлегло от сердца. Я спросил две постели, и, пока Наташа раскладывалась; я покуривал, примостившись в сторонке, и поглядывал на нее.

Вагон мотало и подбрасывало, а Наташа легко и проворно, будто всегда этим занималась, вправляла подушки в наволочки с линиями штемпеями. В ее приготовлениях сквозило такое спокойствие, что я сказал, нагибаясь к ее склоненной фигуре:

— Наташа, — сказал я, — Наташа, давай поженимся.

Она хозяйственно подоткнула уголки покрывала и уселась напротив меня, поджав одну ножку.

— Ты же знаешь, — сказала она, — Борис не дает развода.

— Все равно, — настаивал я, — все равно с этой минуты мы поселимся вместе. Мы начнем крепкую, здоровую семейную жизнь. Давай считать нашу поездку свадебным путешествием. Согласна?..

Наташа ничего не ответила, но, рассеивая подозрения, провела по моим глазам своей легкой рукой.

#### 4

Эх, поезд, птица-поезд! кто тебя выдумал? знать у бойкого народа мог ты только родиться! И хоть выдумал тебя не тульский и не ярославский расторопный мужик, а изобрел, говорят, для пользы дела мудрец-англичанин Стефенсон, уж больно пришелся ты впору по нашей русской равнине и несешься вскачь по кочкам, по пригоркам, по телеграфным столбам, и замедляешь, и убыстряешь движение, пока не зарябит тебе в очи. А приглядеться — печь на колесах, деревенский самовар с прицепом. Сердитый на взгляд, но добрый, великодушный, кудрявый. Пыхтит себе, отдувается и прет на рожон, куда ни попросишь, только ухнет для острастки, да как свистнет в два пальца, заломив шапку на затылок, этаким фертом, этаким чертом, этаким чорт-те каким, сам не знает, гоголем: дескать, помни наших, не то раздавлю! чем мы хуже других?!

Вот и станция. Ошалелые бабы, увешанные детишками и сундуками, лезут под колеса. Пужливые торговки, дуя в кулаки, продают картофель, укутанный в тряпки, вкусный, еще тепленький, огурцы, курятину и стреляют глазами, опасаясь гонений, властей, облавы, поборов. Безногий калека, отталкиваясь руками, в морской тельняшке, с кепкой в зубах, скачкообразно передвигается по вагону. Кипяток. Буфет с пряниками. Надпись «1-е Мая», сохраненная с прошлогодней весны, выцветшая за сезон. Осталась одна минута. Начальник станции в багряном околыше расхаживает по платформе, такой всегда строгий, зоркий, поджарый, высушенный на транспорте, в угаре, в передрыгах с товарняком.

Не успели заметить, как поехали. Замелькали бабы, детишки, лозунги, сундуки, последний домишко с последним тряпьем, прохлаждающимся на заборе, и вот мы вновь мчимся одни по ледяной пустыне, в грохоте, в треске, в пороховом дыму, огибая окрестность, обскакивая на полном ходу другие народы и государства.

Я проснулся от холода, за Ярославлем. Вагон мелко дрожал доброй хорошей рысью. Наташа еще спала, свернувшись калачиком, а я протер стекло и, удобно подперев подбородок, уставился с верхней полки на проезжий пейзаж.

Мы ехали белым лесом, без единого пятнышка, и если вчера в Москве нас одолевала распутица, то здесь царила крепкая правильная зима и было чисто, как в церкви накануне большого праздника. Деревья, покрытые инеем и облепленные снегом, были прекрасны. Они имели видимость фиговых и кокосовых пальм и бананов, какие растут, наверное, только в Индии или в Бразилии и уж никак не подходят к нашей скудоумной природе. И то, что она, природа, вдруг расщедрилась на эти богатства, неизвестно откуда взявшиеся, заставило меня вспомнить о каменноугольном периоде, когда и у нас в России, как доказывает наука, имелась своя — не хуже бразильской — тропическая растительность, которую мы теперь под видом антрацита сжигаем и пускаем в трубу.

Но раздумье об этой утрате древовидных папоротников и хвощей не ввергло меня в уныние и безысходный пессимизм. Трубочатые стволы, и перистые опахала, и веера, и звезды, и вензеля, и перстни, сторая дотла в паровозе, возвращались к нам обратно — выполненные из снега — по обеим сторонам железнодорожного полотна. Они возникали, не успев исчезнуть, и хотя они были немного не такими, было в их основе что-то такое, такое хрустальное и божеественно-твердое, что сообщало всем этим жиденьким березкам да елкам неизгладимый папоротниковый отпечаток.

Значит, рассуждая логически, ничто не гибнет в природе, но все укореняется одно в другом, отпечатывается, затвердевает. Значит, и мы, люди, сохраняем в подвижном лице, в разных привычках, капризах и в капризных улыбках — затвердевшие признаки всех тех, кто жил когда-то в наших трубочатых душах, как в катакомбах, как в норах, и оставил нам на память останки своих заселений.

Эта мысль еще недавно бросала меня в дрожь. Мое миниатюрное «я» эгоистически сопротивлялось пришельцам, которые, подобно вшам, неожиданно-негаданно завелись у меня в голове и грозили полным расстройством всей моей центральной системы. Но сейчас — перед лицом природы, обнаруживающей



порядок и стройность, — это присутствие посторонних существ только тешило и забавляло меня и приводило к сознанию моей глубины, силы и внутренней полноценности. Все, что ни лезло в голову, я обдумывал на ходу, лежа на верхней полке животом вниз, и прикидывал так и эдак мои наблюдения над жизнью, и подкладывал под них прочный философский фундамент.

Удивительно, как это так наука до сих пор не открыла и не доказала вполне научно и логично — переселение душ. А примеры — на каждом шагу. Возьмем, чтоб далеко не идти, шестипалых младенцев. Родится ребенок, а у него взамен пятерни — шестерня. Спрашивается: откуда взялся лишний мизинец? Медицина — бессильна. А если вдуматься, пораскинуть мозгами? Ведь ясно же — это тот, посторонний, запряганный, кто давно уже умер, решил заявить о себе и, воспользовавшись удачным моментом, просунул в чужую ладонь дополнительный палец. Дескать, здесь я, здесь! сижу и скучаю, и хочется мне хотя бы одним пальчиком на Божьем свете вильнуть.

Опять же — сумасшедшие. Какая дальновидность прозрений! Ходит — надменный — и всем говорит: «Я — Юлий Цезарь». И никто ему не верит. Никто не верит, а я — верю. Верю, потому что знаю: был он Юлием Цезарем. Ну, может, не самим Цезарем, но каким-нибудь другим, тоже выдающимся полководцем бывать ему приходилось. Просто немного запамятовал — кем, когда, какого рода войск...

Но к чему непременно брать сумасшедшие крайности? Разве любой из нас — самый смиренный, застенчивый, напуганный жизнью товарищ — не чувствовал иногда прилив храбрости, вдохновения, государственного ума? То-то и оно! Быть может, это Хлодвиг или Байрон пробудился в нас на секунду. А мы живем и не знаем...

А может, это был сам Леонардо да Винчи?!

Я не настаиваю на Леонардо. Я делаю допущение. Мне принцип важен, а не Леонардо да Винчи. И совсем не о себе я пекусь. Мне лично — хватает: Грета, Степан Алексеевич — тот самый, что подстрелил глухаря... Или невинный ребенок Митя Дятлов, умерший восьми лет от роду на рубеже 30-х годов... Всех не перечесать... А все ж таки было б недурственно в дополнение к Мите и Грете заполучить какого-нибудь, ну, на худой конец, Байрона, что ли... Приятно это — чорт побери! — пройтись по Цветному бульвару этаким чортом, этаким лордом Байроном, раскидывая по сторонам этакий, не совсем обычный, байронический взгляд!

Затем, вслед за историей, мне припомнились другие предметы; какие мы изучали в школе: география, зоология... Человеческий эмбрион, говорят, претерпевает — стадии. Сперва — рыба, потом, кажется, земноводное, потом постепенно дорастает до обезьяньего сходства... Так вон оно что! И рыбам и даже лягушкам дана в моем теле некоторая возможность попрыгать, побегать, себя показать, людей посмотреть. Только — видать по всему — не досказал до конца наш старенький школьный учитель, что не какие-то отвлеченные стадии проходил мой организм в бытность глупым зародышем, по частям формируясь, в родной материнской утробе. А совершенно конкретный, живой, неповторимый

карась был моим близнецом и, так сказать, совместителем в эти золотые часы — тот самый, верно, карась, что плавал в реке Амазонке 18 миллионов лет тому назад. Остальные же рыбки — каждая в отдельности — разместились в других моих современниках. Вот оно как все получилось и образовалось.

Так по ходу поезда выростала моя теория, единственно, быть может, способная насытить образованный ум. Подперев себя изнутри каркасом железных выводов, я лежал на верхней полке и грезил о бесконечности, о бессмертии и равноправии. Потому что теперь я твердо знал: никто из нас не исчезнет и, как сказано в одной песне, — «никогда и нигде не пропадет». Просто мы переедем в другую, возможно, еще более комфортабельную квартиру. Всем скопом переедем. Вместе с Митей Дятловым, и Гретой, и Степаном Алексеевичем, и рыбкой. Байрона бы только не забыть!

Мы разместимся внутри какого-нибудь просторного будущего гражданина. И, мне думается, гражданин не останется к нам безразличным. Он будет чутким, вежливым, передовым человеком, да и наука в те прогрессивные времена обо всем ему подробно расскажет. И вот, сидя у окна, в тихий летний вечер, он почувствует вдруг в душе беспокойное копошение. Какие-то внезапные настроения прольются из его сердца, и фантастические идеи осенят его усталую голову. Сначала он удивится, смутится, а потом вспомнит о переселенцах и скажет:

— А, это ты, дружище?! Узнаю тебя. Как поживаешь? Передавай привет Хлодвигу и Леонардо да Винчи!

О вы, человек будущего! обратите на меня внимание! Не забудьте вспомнить обо мне в тот тихий летний вечер. Смотрите — я улыбаюсь вам, я улыбаюсь в вас, я улыбаюсь вами. Разве умер я, а не дышу еще в каждом трепете вашей руки?!

Вот он я! Вы думаете — меня нет? Вы думаете — я исчез навеки? Остановитесь! Умершие люди поют в вашем теле, умершие души гудят в ваших нервах. Прислушайтесь! Так жужжат пчелы в улье, так звучат телеграфные провода, разнося вести по свету. Мы тоже были людьми, тоже плакали и смеялись. Так оглянитесь же на нас!

Не по злобе, не из зависти, а только из чувства дружбы и солидарности мне хочется предупредить вас: вы тоже умрете. И вы придете к нам, как равный к равным, и мы полетим дальше, дальше, в неведомые времена и пространства!.. Я обещаю вам это.

...За такими рассуждениями я совсем позабыл о Наташе. То есть не то чтобы позабыл, а я перестал о ней много думать и беспокоиться и только бессознательно помнил, что она едет рядом, оставаясь неизменно той, какой она всегда была для меня, — моей прекрасной Наташей и никем больше. И хотя я мог допустить чисто умозрительно, что у нее внутри тоже кто-нибудь есть, мне почему-то не хотелось ничего знать об этом и я не допускал мысли о такой вероятности. Моя разнузданная фантазия сохраняла ее нетронутой, вечной, единственной и неделимой Наташей, суеверно обходя стороною это деликатное место. Даже строя планы нашей счастливой жизни, я не слишком их уточнял и дета-

лизировал и старался не забегать дальше той минуты, когда Наташа проснется и позовет меня завтракать.

До чего же это приятно — ты завтракаешь, а тебя везут! И что бы ты ни делал — ты едешь! Смотришь в окно — и едешь, отвернешься — все равно едешь. Читаешь, куришь, ковыряешь в зубах — и тем не менее продолжаешь ехать все дальше, дальше, и ни одна минута твоей жизни не пропадает.

А эти милые паровозные чудеса в решетке! Плевательницы, привинченные к полу; загнутые ручки у двери (нажмешь — она открывается!); зябкий, немного волнующий ветерок из уборной; слабенький, но уваристый, слегка прогорклый чаек!..

Чтобы согреться и приподнять еще выше свое счастливое настроение, я выпил стакан вина и закусил. Наташа не могла надивиться моему аппетиту. Я кушал за семерых.

Нет, я не был так уж голоден, но испытывал — впервые в жизни — странную потребность — глотать. Не столько есть, сколько — глотать, проглатывать. Будто вместе со мною кормилась группа детей разного возраста. И я мысленно приговаривал, опуская в горло куски: «Это — тебе, это — мне, это — тебе. А вот это — мне...»

Мне хотелось быть со всеми одинаково справедливым. Даже тому темнокожему, сморщенному старикашке, который за что-то невзлюбил меня с первого взгляда, я бросил сухой колбасный отгрызок, говоря: «Ешь да помалкивай!»

Но особенное расположение, если не сказать — любовь, я чувствовал к Мите Дятлову. Еще бы — совсем дитя, сирота, шустренький такой, игривый. Все просил у меня винца попробовать. Я, конечно, отказывал: еще маленький. Тогда он что, безобразник, выкинул! Разложила Наташа конфетки к чаю, а он подсмотрел, да как закричит:

— Дай мне! дай мне! мне! мне! — закричал я не своим, каким-то детским, писклявым голосом и схватил со столика сразу три штуки.

Наташа неуверенно засмеялась. Но я взял себя в руки и все обратил в шутку. А Митька за свое безобразие был наказан. Конфетки я отдал другому, уж не скажу точно какому выкормышу — быть может, моему первенцу, тихому первобытному увальню, что перед самым Новым годом перетрусил встречи с троллейбусом. Он высосал их с благодарностью, урча как медвежонок...

— Наташа, — сказал я, немного подумав. — Ты во мне не замечаешь ничего особенного?

— Что ты имеешь в виду? — спросила Наташа и посмотрела так, как если бы это я что-нибудь в ней обнаружил.

— Нет, ничего... Но тебе не кажется, что я какой-то более толстый?.. Толще, чем всегда...

И я обвел руками воображаемую фигуру, стремясь лучше выразить мою внутреннюю полноту...

— Ты все всегда придумываешь, когда выпьешь, — сказала Наташа обеспокоенным тоном, и я понял, что сейчас она спросит о моем отношении...

— А ты меня не разлюбил? — спросила Наташа.

— Нет-нет! В отношениях к тебе у меня ничего не изменилось.

— Как ты сказал?

— Я говорю — в отношениях к тебе у меня все в порядке, — повторил я раздраженно и пожалел, что затеял с нею этот разговор.

Ведь стоит заговорить или подумать о чем-нибудь, как сразу все начинается. Я давно это заметил. Быть может, мои предсказания только потому сбываются, что когда все известно — деваться некуда, и если бы мы не знали заранее, что должно с нами случиться, ничего бы не случилось...

— Наташа! — воскликнул я умоляющим голосом. — Я люблю тебя, Наташа! Я люблю тебя больше, чем прежде! Я никогда, никогда тебя не покину!

И я намеревался обнять ее и прервать весь разговор долгими поцелуями, потому что в нашем купе мы ехали одни и могли целоваться сколько угодно, ни о чем не волнуясь.

— погоди! — сказала Наташа и вытерла губы. — Ах, если б ты знал!.. Я должна тебе рассказать одну вещь...

— Ничего не надо рассказывать... Я сам все знаю. Посмотри лучше туда — какой домик мы проезжаем. Дивный домик. С крышей, с трубой, а из трубы — дым. Вот бы нам с тобой жить в таком домике. Ходить на лыжах — за хлебом, за керосином. Пока дети не подрастут. Сын или дочь — кого захочется. Лично я, например, вполне созрел для отцовства. Во мне пробудилось то самое, что бывает, наверное, у беременной женщины...

Но она не поняла меня и даже не посмотрела на домик, который мы уже проехали. Ей не терпелось облегчить душу и рассказать по совести все то, что мне без ее признаний было, отлично известно и о чем нам следовало молчать, чтобы не накликать беды. Уж если сам я ни разу не попрекнул ее ничем и сдержал ревнивые чувства и даже, в какой-то мере, ограничил свои способности — лишь бы сохранить в целостности ее жизнь и здоровье, — то она-то могла бы тоже сколько-нибудь подождать с этим делом и не говорить мне ничего о своей связи с Борисом.

Да и что нового могла она мне сообщить? Она сказала только, приуменьшая размеры, что однажды, под влиянием настроения, зашла с Борисом немного дальше, чем он того заслуживал, и теперь жестоко раскаивается в этом поступке. Но сказанных ею, робких, со слезами в голосе, слов было достаточно, чтобы раздражить мои мысли и направить их внимание в эту сторону. Едва лишь было произнесено имя Бориса, как я подумал, что он, конечно, не оставил нас без последствий и в любую минуту надо ждать погони. Со вчерашнего вечера он успел развить скорость и заявить на меня в какое-нибудь государственное учреждение, которое не преминет вмешаться и все испортить. И как только я подумал об этом, мне стало ясно, что беды не миновать и она уже где-то здесь, по соседству, приготовила нам сюрприз, и что сам я об этом давно знаю, но храбрюсь и делаю вид, что все в порядке.

— Пожалуйста, ничего не думай, — говорила Наташа, трясаясь у меня на груди. — Я люблю тебя и ненавижу Бориса. Но кажется — я беременна, не знаю от кого. Поступай, как знаешь...

Господи! Этого еще не хватало! Ну какое мне дело до ее пачкотни с Борисом! Не все ли равно — от меня, от него ли? Да разве не собирался я сам намекнуть ей в облегчение, что готов взять на себя любую беременность? — только бы она ничего не говорила мне о Борисе и не привлекала внимание тех четырех военных, что ходят из вагона в вагон и просматривают документы.

Видать, они сели в поезд уже за Ярославлем и, обследуя проезжую публику, медленно двигались к нам. Теперь нас отделяло всего три вагона, и хотя на таком расстоянии я ничего не мог разобрать, мне было понятно и так, кого они разыскивают и какого рода инструкция лежит в нагрудном кармане самого главного из них — по фамилии почему-то Сысоев.

А с другого конца, по ходу поезда — я только что это заметил — двигалась вторая четверка, навстречу первой, прочесывая пассажиров. Мы были в центре. Они приближались к нам с двух концов.

— Ах, Наташа! Да перестань ты плакать! Все это сущие пустяки. Скажи лучше — зачем ты позвонила Борису перед самым нашим отъездом? Ты сказала ему номер вагона? Нет? Ну, и то хорошо.

Объясняться с нею не было времени. Я был как-то растерян, рассеян. Все мои противоречивые чувства — все дармоеды, ехавшие со мною по одному билету, — вдруг всполошились и потащили в разные стороны. Одни — вероятно, бывшие женщины — убеждали расстаться с Наташей, да поскорее, чего путаться с этой дрянью, сам спасайся, пока не поздно. Другие больше всего жалели зря потраченных денег, которые надо вернуть через месяц. А кто-то посоветовал оказать вооруженное сопротивление.

Кто это был — я так и не понял. Степан Алексеевич со своими дворянскими замашками? индеец, ушедший под воду, не выпустив скальп изо рта? или какой-нибудь еще неопознанный неизвестный солдат, похороненный во мне рядом с трусостью и крохоборством? Милый, милый, наивный неизвестный солдат!..

Но заручившись его моральной и физической помощью, я мигом усмирив вшивую толпу подстрекателей. «Цыц, сволочи! всех перевешаю!» — пробормотал я сквозь зубы. И когда они смолкли и пришипелись, — стало слышно, как стучат колеса и скрипят деревянные перегородки, заглушая скрип сапог и отдаленный говор тех, кто искал меня по всему поезду.

Тогда я сказал Наташе, что пора вылезать, и она не спросила, как мы вылезем — ведь мы мчались по снежной равнине, а только спросила — а как чемоданы? И я схватил ее за руку и потянул по вагону. В тамбуре, на наше счастье, не было ни души, и дверь на волю, как я предвидел, не была заперта, хотя обычно ее запирают, чтобы никто не выпрыгнул и не расшибся. Холодный ветер, сдобренный снегом, ударил нам в глаза.

— Прыгай, прыгай! — кричал я Наташе, перекрикивая грохот колес. — Сугробы — не разобьешься. Я ручаюсь. Прыгай, тебе говорят!..

Но она боялась прыгать с такой высоты и на такой сильной скорости, потому что не знала, что бояться ей нечего и тут она застрахована и может прыгать сколько угодно — все равно ничего не будет. Я бы соскочил первым, чтобы по-

дать ей пример, но опасался, что соскочу, а она уедет и я уж ничем не смогу ей помочь.

Четверо военных шарили в нашем вагоне и приближались к тамбуру. Я начал выталкивать Наташу и бить ее по рукам, говоря, чтобы она прыгала, не задерживаясь, а Наташа не верила, и цеплялась руками, и зачем-то твердила, чтобы я не выбрасывал ее на ходу и что у нее с Борисом нет ничего общего.

Может быть, мне удалось бы вытолкнуть ее и самому спрыгнуть в последний момент, но те, что ловили меня по доносу Бориса, уже ворвались к нам и окружили нас в одну секунду. Посыпались приказы, вопросы: кто такие, что здесь делаем и почему отворена дверь? Я отвечал, что мы вышли подышать воздухом, потому что моей жене сделалось нехорошо.

Наташа вся дрожала. Она никак не могла отделаться от странного впечатления, что я собирался — будто бы — столкнуть ее под колеса. Но все же она подтвердила, что мы дышали воздухом, и я оценил еще раз ее благородство... Впрочем, сейчас все это не имело значения. Меня опознали.

— Вы задержаны, прошу вас проследовать за мной, — сказал тот, кого звали Сысоевым. Он сунул мой паспорт в свой нагрудный карман и протянул бумагу, которую я не стал читать. Мне чудилось, что все это уже бывало со мною, и даже бурки Сысоева, отличные офицерские бурки, мне где-то раньше попадались. Никогда не видал я ни Сысоева, ни его беленьких буроков, а просто мог бы про все сказать: так я и знал! так оно все и представлялось мне с самого начала!

Самое грустное было то, что Наташу не арестовали. Ее отпускали без меня на все четыре стороны, и она, намереваясь вернуться в Москву, плакала третьими или четвертыми за сегодняшнее утро слезами.

— Ты не думай, — говорила Наташа, — я не вернусь к Борису. Я буду ждать тебя. Тебя скоро выпустят. Это ошибка. Я уверена, ты не думай...

Потом нас высадили на первой же станции. Утро было сухим и морозным. Полпоезда сбежалось смотреть, кого поймали. Баба в тулупе крестилась на меня, будто на мертвеца. Восемь военных гордо и почтительно меня сопровождали, словно знатного иностранца. Из них по крайней мере четверо сжимали незаметно в карманах рубчатые рукоятки наганов.

— Можете попрощаться с вашей подругой, — сказал Сысоев. — А вам, гражданочка, рекомендую отдохнуть на вокзале. Обратный поезд пойдет только вечером.

Я обнял Наташу и произнес внятно и тихо — последнее, что мог произнести в эту решительную минуту:

— Наташа! — сказал я. — Ты можешь думать про меня все, что хочешь. Считай меня, если хочешь, безумцем, но помни одно: когда вернешься домой — не вздумай ходить в Гнездниковский. Такой переулочек, возле площади Пушкина, улицы Горького. Не заглядывай туда ни под каким видом. Особенно воздержись — в воскресенье, девятнадцатого января.. Запомни: девятнадцатого! через четыре дня. В десять утра. Сиди дома. В крайнем случае, если пойдешь к Борису... Не качай головой, я знаю. Девятнадцатого — воскресенье, и тебе может случайно захотеться пойти к Борису. Что ж тут такого! Ничего особенного.

Я не возражаю. Но только не ходи по Гнездниковскому переулку. Совсем не по пути. К тому же ты опоздаешь, если пойдешь в Гнездниковский. Вы же привыкли — с десяти. До половины одиннадцатого. Вот и хорошо. Найдется занятие. Не заметите, как время пройдет. Хоть до двенадцати. Сейчас — неважно. Главное — запомни: Гнездниковский... девятнадцатого... в десять утра...

И как только я высказал эту мысль, точившую меня непрерывно все это время, я понял, что не должен был ее говорить. Не скажи я Наташе — ей бы, может, никогда и в голову не пришло туда ходить, а теперь я первый все подготовил и обозначил, и уже ничего нельзя отменить и переделать.

— Какой Гнездниковский? — сказала Наташа. — Чего ты от меня хочешь? Не бывала я ни в каком Гнездниковском...

Я только махнул рукой и, сощурившись от злости и боли, крикнул своей охране:

— Пошли!

Пройдя шагов пятьдесят, я обернулся. Наташа стояла на том же месте, но выражение ее лица я не сумел разглядеть. Ее голова была от меня отрезана железнодорожным мостом... Зато вся остальная, нижняя часть Наташи, начиная от груди, была на виду. Ее талия сохраняла былую стройность и ничуть не потолстела. Лишь в самой сердцевине, крепкой и чистой, как хрусталь, виднелось темное пятнышко.

«Что бы это могло означать? — размышлял я про себя. — Почему гнилое пятнышко, занесенное Борисом, не растет и не развивается по законам природы? Ведь я согласен усыновить будущее дитя, я на все согласен... Почему же оно не покажется хотя бы в образе рыбки, и не помашет мне на прощанье своей будущей ручкой?..»

Но сколько я ни старался — пятно не выросло в размере и не принимало желанного образа. Оно оставалось таким же темным, пока у меня от усилия не помутилось в глазах.

— Где же ваш вертолет? — сказал я Сысоеву, почтительно переживавшему мое горе. — Вечно вы запаздываете, капитан Сысоев...

— Через полчаса прибудет! — отвечал Сысоев и вдруг, щелкнув бурками, сделал под козырек.

## 5

Я попал в руки полковнику Тарасову. Знакомство с этим чудесным и простым человеком началось с того, что он повертел в воздухе запертым портсигаром с «Тремя богатырями» на крышке и весело гаркнул:

— А ну! Быстро! Считать умеешь? Сколько штук?

Полагая, что его занимают русские богатыри Васнецова, я рассеянно отвечал, что здесь выдавлено ровным счетом три человека, сидящих на трех лошадях.

— Сколько сигарет — я спрашиваю! — взревел полковник Тарасов, и тогда я догадался, какие проблемы его волнуют, и назвал — теперь уже точно не помню — число сигарет, наполняющих его богатырский давленный портсигар.

Проверив мое умение ориентироваться в пространстве и видеть предметы сквозь покрытие толщиной в 5 миллиметров, полковник перешел к измерениям во времени. Он прицелился мне в лицо из хорошего браунинга и спросил, через сколько секунд я ожидаю выстрела.

Эта шутка рассмешила меня, и, раскачиваясь на стуле, я смеялся до тех пор, пока его рука, утяжеленная браунингом, не затекла, а глаз полковника не подернулся кровеносной пленкой — от непрерывных стараний удержать на прицеле мое качающееся лицо. Затем я сказал:

— Во-первых, дорогой полковник, браунинг у вас не заряжен. Во-вторых, за мою персону вы отвечаете головой и не захотите его пожертвовать ради чистого опыта. А в-третьих, — добавил я, — вы немедленно спрячете ваше оружие в стол и будете со мной разговаривать другим языком. Иначе я отказываюсь поддерживать деловое сотрудничество, которое, насколько мне известно, вы имеете предложить...

Полковник обиженно хмыкнул, убрал револьвер в стол и перешел со мною на «вы». Так мы стали друзьями.

У меня не было причин скрывать от полковника мою психическую организацию, превышающую лимиты среднего человека. К тому же имелась полная опись всех отгадок и предсказаний, произведенных мною публично в новогоднюю ночь и собранных воедино Борисом в пространное донесение. Этот документ, проверенный путем опроса свидетелей и послуживший основанием к задержанию моей личности — «годной приносить пользу в обороне государства», — поступил по инстанциям к полковнику Тарасову для дальнейшего с его стороны разбирательства и применения.

Я не хотел заниматься рекламой и строить из себя какого-то чудотворца, но помочь полковнику в его стратегии считал своим гражданским долгом. И могу отметить без ложной скромности, что за краткое время моей работы я кое-что сделал для пользы народа и всего миролюбивого человечества. Так, например, мною были расшифрованы несколько таинственных телеграмм, посланных заезжим корреспондентом в одну официозную газетенку. А также я за сутки до срока предсказал падение одного кабинета в одной незначительной иностранной державе, чем помог нашей дипломатии произвести заблаговременные авансы... Касаться подробнее моих изысканий я не нахожу возможным по причине их полной и совершенной секретности. Скажу только: да! были дела! и мой труд не потрачен даром! и моя есть доля в нашем общем деле!..

В первое время мой шеф был очень доволен таким успехом и, чувствуя ко мне душевное расположение, говаривал:

— Вы далеко пойдете. Через недельку-другую — глядишь — мы с вами откроем какой-нибудь крупный заговор. Что-то давно не бывало заговоров... И следствие — при вашем участии — не затянется... Сразу всех выудим!..



Меня эти планы мало прельщали — не потому, что я сочувствовал заговорщикам, а просто по интеллигентской привычке считал не вполне для себя удобным вылавливать людей и проводить дознание с помощью телепатии и ясновидения. Мне всегда казалось, что в поимке преступника должен присутствовать элемент романтики и спортивного, я бы сказал, состязания. В противном случае разведка и розыск превратятся в заготовительное предприятие и потеряют весь блеск и притягательность для нашего юношества. Кроме того, мне было памятно, как меня самого недавно ловили, и я не спешил обнадеживать шефа в его дальних замыслах.

— Подождите, полковник. Моя осведомленность тоже имеет предел. Боюсь, шпионы не подойдут... Уж очень раскиданы, трудно учесть... Их, шпионов, среди населения, небось, один на целую сотню. И того хуже, и того меньше. Со всем слабым процент.

— А ты напрягись! Все силы! Ведь родина-мать смотрит. Требует! С надеждой. Одевает, кормит... Бесплатное обучение. Детские сады, ясли. Изба-читальня. Для родной матери, не для кого-нибудь. Если прикажет родина-мать, мать твою родину! Всех вас! Ведь, эх! себя не пожалею!..

Глаза полковника увлажнились. Он рвал крюки на груди и скрежетал зубами. А я, слушая эти речи, чувствовал себя пристыженным.

В самом деле, мне были созданы все условия, о каких только можно мечтать в тюремной практике. Мягкая мебель. Абажур с кистями. Персональная ванна. Четыре молодых человека — в чине лейтенанта, не меньше, — стерегли мой покой и выполняли попутно обязанности горничной, секретаря, судомойки и парикмахера. Курьеры, дежурившие круглосуточно, были готовы по первому знаку устремиться в архивы, библиотеки, фототеки и доставить любой раритет, имеющий для меня хоть какое-то небольшое вспомогательное значение.

А кормили меня, как в ресторане. Обед всегда из трех блюд. Кофе с ликером. Правда, в коньяке была ограниченность: не больше бутылки на день. Но когда полковник Тарасов заходил ко мне поболтать — не допрашивать или выпытывать, а просто так, после трудов, посидеть вдвоем, по-домашнему, — порцию увеличивали. Полковник справедливо считал, что коньяк повышает чувствительность и способствует моему развитию в сильную сторону.

Помню, в первый же вечер мы засиделись с ним допоздна за «Араратом». В полночь он приказал подать географический атлас и просил меня погадать на картах. И хотя я говорил, что это не моя компетенция, полковник настаивал на своем и сам попытался внести ясность в международную обстановку.

Он с легкостью форсировал реки, переваливал через хребты и размечал ногтем по карте пути всемирной истории — на много десятилетий вперед. Сначала все шло хорошо. Европу мы обезвредили. Но его почему-то тянуло к югу, в горы, за Арарат и Гибралтар. Я едва поспевал за ним и, запутавшись в дислокациях, перестал понимать, кто с кем воюет... На миг мне удалось, подтолкнув полковничий локоть, выровнять положение: стремительным марш-броском мы вышли к морю.

Это было уже за экватором, пятьдесят лет спустя, и полковник, полагаясь на негритянские подкрепления, намеревался высадить десант — прямо в Австралию.

— Да вы с ума сошли! Во-первых, мы не здесь, а вот здесь. Уберите палец. Потом, полковник, вы забываете Мадагаскар. Там японцы. Куда вы тычете? Сюда нельзя. Проиграем кампанию! Нельзя, вам говорят. В конце концов, мне лучше знать, как это будет...

Он кинул на меня слезящийся взгляд и прохрипел:

— А как же Австралия?..

— При чем тут Австралия?!

— Что ж мы Австралию — псу под хвост?

— Ну, знаете, не все сразу. Когда-нибудь при другой вакансии дойдет черед Австралии. На более высоком этапе исторического развития...

Полковник на локтях пополз ко мне через стол:

— Голубчик, нельзя ли ускорить? Хотя немного...

— Что ускорить?

— Ну, развитие это самое... Чего с ним долго возиться! Напрягись! Ну, для меня, не в службу, а в дружбу. Прошу тебя по-товарищески — будь ты человеком, посодействуй Австралии...

Он, кажется, путал меня с Господом Богом. Но если был я в малой мере всезнающим, то уж всемогущества мне за это нисколько не полагалось. Да и что я могу? Все знаю и ничего не могу. И чем больше знаю, тем хуже, тем меньше у меня законных оснований что-то делать и на кого-то надеяться...

Конечно, попадись мне вместо полковника какой-нибудь либеральный доцентик (бывают такие доцентики, дотошные, из евреев), уж он бы жилы из меня вытягивал: где тут свобода воли и какую особую роль играет личность в истории? Но я говорил давеча и еще раз подчеркну: никакой особой роли ваша личность не играет. И какая может быть самостоятельность у человека, когда все учтено? Встать! — встаю. Ляг! — ложусь. Не хочется ложиться, а ложусь. Потому закон, историческая неизбежность. Как ни вертись, все равно в конечном счете лечь придется. И даже если взамен предназначенного мне лежания я попытаюсь потихоньку от всех приподняться и встать, значит — на это тоже было получено разъяснение и я поступил, как велит мне всемогущая воля.

Не властен я над собой, безволен и равнодушен, как камень. И в светлые минуты жизни прошу об одном: «Господи! поддержи! не оставь! Господи! Я — камень в Твоей руке... Напрягись, соберись с силами и кинь этот камень со всей силой в кого захочешь!..»

Ладно, — сказал полковник, когда я открылся в полной невозможности управлять ходом событий. — Не хочешь Австралию, — давай Новую Зеландию. Небольшие два островка. Раз плюнуть.

Я повторил, сославшись на диалектику, что историю мы не вправе ни улучшать, ни ухудшать: а то выйдет беспорядок и субъективный идеализм.

— Да ведь мы совсем немножко улучшим, — хныкал полковник. — Никто не заметит. Ну чего тебе стоит?.. По-дружески... Новую-то Зеландию... Голландию освободили, а Зеландию — псу под хвост?

Он не был силен в диалектике, мой полковник Тарасов, но в нем обитала великая, алчущая душа. Быть может, душа Тамерлана, Петра Первого, Фридриха Ницше, — перебирал я тогда в уме различные варианты...

Но при ближайшем рассмотрении все вышло немного иначе. Полицейские разных званий, стражники, надзиратели выстроились в затылок за спиной моего шефа, когда я заглянул повнимательней в глубину его большого, отяжелевшего тела.

Они уходили объемами во мглу древнейших культур и вылуплялись из мрака в такой строгой последовательности, что вначале мне показались все на одно лицо. Но потом я заметил разницу: каждый позднейший был рангом крупнее своего предшественника. Точно они рождались специально для того, чтобы подняться в течение жизни еще на одну ступень. Последний по времени сослуживец замер в подполковниках при Александре-Освободителе. Ближе его по чину никто не стоял. Вершиной всей эволюции был полковник Тарасов.

Но и самому Тарасову и каждому, кто его подготавливал, приходилось, вступая в историю, начинать сначала и выслуживаться из простейшего дворника, повторяя в своем генезисе все предыдущие стадии многовекового иерархического развития. И не загадывая наперед, можно было предположить, что звание полковника тоже не было венцом их поступательных усилий, а служило лишь передышкой на пути к новым подъемам...

Перед этой неодолимой потребностью в самосовершенствовании, перед этой слитностью всех действий в один единокорный прогресс не устоит — почувствовал я — никакая, в конечном счете, Австралия, никакая Новая Зеландия, не говоря уже о более мелких задачах. И когда полковник Тарасов, прощаясь со мной перед сном, во второй раз и в третий попросил о поддержке в грядущей новозеландской борьбе, моя неуступчивость поколебалась.

Я обещал подумать и поискать какой-нибудь выход, позволяющий — не в обиду материалистической диалектике — ускорить созревание и приобщение к жизни этих оторванных от действительности островов.

— Однако, — сказал я, — мне тоже нужна поддержка в одном тонком деле, касающемся моей незаконной жены, с которой, впрочем, в любую минуту, я готов оформить законные отношения.

— Хоть десять жен бери и живи! — закричал Тарасов с таким неподдельным жаром, что мне стало как-то неловко за мою небольшую хитрость. Но дело с Наташей я отложил, чтобы дать полковнику время выспаться и оценить положение более трезво. Сам я тоже порядочно страдал головой от его могучего «Арарата», и, пока не заснул, меня качало, как в колыбели...

...В эту ночь мне приснился сон — из тех, наверное, снов, что имеют для нашей жизни какой-нибудь смысл. Мне привиделось, что я иду по дороге и натыкаюсь в темноте на военный патруль. Должно быть, мною руководили предсудительные моменты (возможно, я от кого скрывался или сбежал отсюда), пото-

му что меня пронзила одна мысль: ну вот, Пушкина расстреляли, и Болдырева расстреляли, и меня, видимо, ждет такая же судьба. Но я не дал себя задержать и проверить документы, а пустился в темноте наутек, хотя они кричали, чтобы я не двигался с места, и даже, кажется, стреляли наугад в моем направлении, лениясь, однако, меня далеко преследовать по плохой дороге.

Пару раз я споткнулся и крепко приложился о землю, но ничего — встал и пошел себе дальше, радуясь, что так удачно избежал объяснений с военным трибуналом. Мое тело легко и плавно перемещалось вдоль изгородей, которые намекали, что скоро я вернусь домой и увижусь со всеми, кого давно не видал. Но я не пошел домой, а решил заглянуть сначала к одной своей знакомой и быстро очутился у ее окна, взобравшись на балкончик без шума, даже не потревожив спящей внизу собаки.

Наташа была одна и при свете настольной лампы читала книгу, и — помню — во сне я подумал, что мои опасения, значит, были напрасны, раз она приснилась мне в таком чудном виде. А также, мне сделалось вдруг интересно, какую книгу она читает, потому что в свое время, еще до войны, я направлял ее вкусы и дарил — к неудовольствию моей жены — стихи Пушкина и Болдырева. Но теперь у нее на коленях лежал мой собственный — сильно потрепанный — экземпляр одной старинной повести — «Распутица» или, кажется, «Сумятица», приобретенный мною еще до войны для полноты собрания и принадлежащий перу какого-то древнего автора — пушкинских примерно времен. Надо бы перечесть, плохо помню... может быть, что-то полезное или занятное... но неужто Наташа все еще пользуется моей домашней библиотекой? — подумал я и еле слышно торкнулся в раму.

Окно было затворено для того, вероятно, чтобы бабочки, жуки и разные мошки не набивались в комнату из темного сада. Но они в небольшом числе все же проникли, и вертелись у лампы, и ударялись в стеклянный колпак, оставляя на нем слабое белесое опыление. По временам Наташа, отрываясь от книги, стряхивала страницы и смотрела в окно, ничего, конечно, не различая в такой темноте. Ее взгляд выражал ожидание и пустоту неустроенной женщины, а меня тоже томило чувство невыполненных по отношению к ней обязательств, которым, наконец, пришел срок исполниться. Но барабания по стеклу, я видел, что Наташа не трогалась с места, принимая, должно быть, мои призывы за надоедливую суету насекомых. Тогда, бессильный побороть трескотню их потрепанных крыльев, я решил, что, наверное, это потому, что все происходит во сне и мой лепет и сонное царпанье по стеклу не достигают Наташи. И отложив наше свиданье, я спустился с балкона и пошел к себе домой — прямо через сад, по траве, кишашей кузнечиками, на другой край поселка...

Собака, которую мы с женой обычно держали в конуре, опять не залаяла при моем приближении, и я подумал, уж не сдохла ли без меня собака, да и цел ли мой дом и здоровы ли дети. Но вроде все было по-старому и в нижнем этаже, на кухне, служившей одновременно столовой, горел свет. За длинным пустым столом сидели мама, папа, дядя Гриша и тетя Соня и другие родственники и знакомые, которых я никак не думал встретить в своем доме. Все они

точно ждали моего появления и сидели в молчании, выпростав на обеденный стол пустые тяжелые руки, и, едва я вошел, подняли головы и кто-то, кажется, дядя Гриша, сказал:

— А вот и Василий...

При чем здесь Василий? за кого меня принимают? — пронеслось в моем уме и тут же улеглось: ну, конечно, правильно, Василий! как же иначе?

Но что-то недоброе чуялось мне в этом семейном совете, и я спросил, почему не видно моих детей и жены.

— Только ты, пожалуйста, не волнуйся, — сказала мама.

— Умерли, заболели? Их увезли?

— Нет, нет, все живы, на свободе и хорошо себя чувствуют... А Женечка стала совсем большая, совсем большая...

Она спешила унять мое волнение, которое только возрастало в результате маминой спешки.

— Куда они делись? почему не с вами? Отвечайте же наконец!..

— Они здесь... Неподалеку... Поехали в город... скоро вернутся...

— Перестань, Лизавета! — сказал отец и встал из-за стола. — Василий не маленький. Нечего с ним нянчиться. Ему надо знать!

— Нет-нет, погоди, пускай немного привыкнет, суетилась мама.

Но отец грубо отстранил ее и, не глядя на меня, буркнул:

— Пойми, Василий, ты же — умер...

Все потупились. Тут только я заметил, что стою и говорю с одними умершими, и вспомнил — ах, да! ведь и папы, и мамы, и дяди Гриши давно уже нет на свете, и хотел уйти, пока не поздно, — попрощаться с Наташей и объяснить ей... Но отец больно стиснул меня за локоть и отвел в сторону.

— Кури! — приказал он, сунув мне под нос истерзанную папиросную пачку.

И тихо, чтобы никто не слышал, добавил:

— Пожалей маму и успокойся. Разве ты не знаешь, что тебя застрелили? Ну да, только что застрелили. Возле поселка. На дороге... Что уставился? Не надо было бегать сломя голову. Сам виноват.

— Но как же Наташа, когда же я встречу с Наташей?! — воскликнул я и проснулся от огорчения.

...До сих пор я не знаю, что означал этот сон, и нужно ли его понимать в каком-нибудь возвышенном, аллегорическом смысле или мне в самом деле еще предстоит пережить под именем Василия и этот ночной побег, и эту безрезультатную встречу с недоступной Наташей, которая так и не услышит моего запоздалого стука, потому что меня к тому времени успеют застрелить... И при чем тут Пушкин? И кто такой Болдырев? И что за старинную книгу позаимствует Наташа из моей библиотеки, и впрямь ли эта книга называется «Сумятица» или «Распутица», и уж не та ли это самая повесть, которую я пишу сейчас под немного другим заглавием — в надежде, что все мы когда-нибудь все ж таки еще повстречаемся?..

Но с другой стороны, в этом сне было много такого, что вполне объяснимо тогдашним состоянием моего духа и впечатлениями от жизни в темнице. Очень может быть, что просто я — спящий — попытался вырваться на свободу, но мое желание приняло запутанное направление. А может быть — и то и другое, и будущее смешалось с прошедшим, и надо до всего этого сначала дожить, чтобы проверить на практике мои сонные грезы.

Но тогда, под свежим воздействием, я об этом не рассуждал. Мысль, что Наташа опять и опять ускользает из моих протянутых рук, меня подхлестывала. Наутро я возобновил переговоры с полковником, умоляя его изъять Наташу — хотя бы на сутки — и поместить для безопасности под арест, всего лучше — в мою же камеру, на семейном, так сказать, положении. Понятно, что мне пришлось также ему разъяснить все, что касалось места и времени подготовляемого на мою жену покушения, предотвратить какое-то — прямой долг и заслуга государственной власти.

Однако, словно стесняясь наших действий за «Араратом», полковник был настроен не в меру рассудительно.

— На каком основании, — сказал он, — вы придаете значение маловажной сосульке? Почему она — второстепенная, случайная в жизни ледяшка — непременно должна поразить вашу Наташу в голову? И непременно послезавтра, да еще в 10 часов... Так не бывает. Я не вижу в этом никакой логики, никакой закономерности. К тому же вы сами говорите — успели предупредить. Зачем вашей Наташе ходить в Гнездиновский? Да еще непременно в тот момент, когда эта сосулька станет на нее падать...

— Ах, полковник, вы не знаете женщин. Ведь пойдет, как пить дать — пойдет. Из одного упрямства. Знает, что нельзя — и пойдет. А потом, какая разница: сосулька или бомба? Бактерия, например, еще меньше по виду. Любая случайность — поймите — неизбежна, неотвратима, чуть стоит ее предсказать. Ведь это же все равно, что вынесение приговора. Сами знаете — трибунал — отмене не подлежит. Одних расстреляют бактериями, других — сосульками. Третьих — при попытке к бегству. Каждому — свое. Между нами говоря, мы все — приговоренные. Только не знаем ни дня, ни часа, ни подробностей исполнения. А я вот — знаю, знаю и беспокоюсь. Ах, если бы не знать!..

Целый час мы с ним спорили и торговались, куда я уломал его подать рапорт. Полковник никак не хотел без ведома высшей инстанции наложить арест на мою жену и ждал указаний. Зато последние два дня он не расставался со мною и даже распорядился поставить в моей камере свою походную раскладушку.

Я, со своей стороны, тоже принял меры: решетчатое окно запечатали дополнительной изоляцией. Все часы по моему настоянию тоже удалили. Мне казалось, что так будет лучше.

Мы пили и работали при одном электричестве и, спутав дневной распорядок, завтракали не то в восемь, не то в одиннадцать вечера. К сожалению, полностью избавиться от ощущения времени я все-таки не сумел и чувствовал, как оно увеличивается от завтрака до обеда, съедая по частям отпущенный мне

срок. Также любая сосиска, поданная на закуску, напоминала своим звучанием — сосульку. Я не видел ее отсюда, но живо представлял, какого веса достигли ледяные полипы, образующие эту улитку с вытянутым книзу клювом.

Всего отвратительнее было то, что она имела несерьезный размер и форму, внушающую беспечность. Будь она хоть немного потолще, да поклякстее, ее бы давно распознали и уничтожили. Полковник дважды по моей просьбе высылал в Гнездиновский команду бойцов противовоздушной защиты. Они облазили весь переулок, но ничего не нашли. А сосулька тем временем продолжала незаметно висеть и давить на мою психику, а Наташа вдали от меня разгуливала на свободе, а рапорт полковника Тарасова тащился по инстанциям безо всякой видимой пользы. Короче говоря, во всем царила наша обычная неразбериха...

Впоследствии я часто задавался вопросом, что было бы, если бы полковник, в нарушение субординации, быстрым единоличным решением приказал поместить Наташу под надежную кровлю? Куда бы в таком случае девалась сосулька? В конце концов, все это выглядело чистой нелепицей. Стечение анекдотических обстоятельств, каждое из которых в принципе легко устранимо. Да и моя способность все на свете предвидеть и предугадывать, послужившая первопричиной всех наших несчастий, не была ли она тоже какой-то ошибкой? Если бы я тогда, на Цветном бульваре, не повздорил с Наташей из-за снега, если бы просто в тот вечер была иная погода, — ведь ничего бы не было. А между тем все выходило именно так, а не иначе, и, сидя взаперти, я ждал конца почти с нетерпением: скорей бы уж что ли! ну, падай же, падай! и отпусти...

Меня терзала мысль, что безжалостная природа в довершение казни покажет мне на прощание эту сцену, которую я сам напророчил и подстроил своими увертками. Дескать, на! — удостоверься, насколько точна и хороша твоя догадливость, и вдруг, расположившись в камере, как в теплом кинематографе, я увижу Наташу, вбитую в снег мелькнувшей стекловидной стрелой, и вот уже дворничиха посыпает песком мокрое место, и толпа неохотно расходится, поглядывая с уважением вверх...

Но все произошло по-другому. Однажды мы сидели и напряженно трудились, когда полковник Тарасов, будто бы в шутку, спросил:

— Как вы полагаете — меня произведут в генералы? Или так и помру в старом звании?..

Впервые за все это время полковник показал интерес к своей индивидуальной судьбе, и я, конечно, ответил в ободряющем тоне, что с годами он безусловно достигнет генеральского уровня, а может быть, чего-то послаще и покрупнее. Но отвечая машинально, лишь бы отделаться, я всерьез задумался над этой проблемой и сам не заметил, как перед моим умственным взором встала туманная панорама...

Верно, меня занесло уж очень далеко вперед и, минуя ряд промежуточных ступеней, я увидел землю, которую и землей-то не назовешь, настолько она была заполнена ледяными наслоениями. Впрочем, понятие «льда» мною употребляется с оговоркой и скорее иносказательно, ибо еще неизвестно, из чего

состояли эти сталактиты и сталагмиты, торчащие отовсюду наподобие гигантских сосулек. Быть может, они возникли из какого-нибудь окаменевшего газа или духа, спрессованного под высоким давлением, и, сидя перед этой картиной, я даже не был уверен, что нахожусь на нашей планете, а не где-нибудь еще в мировом пространстве.

Но каким-то неувидимым чутьем мне было дано постичь со всей определенностью, что это отнюдь не мертвая и не бесформенная природа, а вполне живые, разумные, искусственные существа высочайшей организации. Больше того, ближняя ко мне и как бы руководящая всем ландшафтом сосулька и была не чем иным, как полковником Тарасовым, с той, конечно, разницей, что теперь он имел другой чин и, наверное, другую фамилию и мало чем походил на свою прошлую внешность. Однако в самой структуре и в образе жизни этого ледяного полипа, который то покрывался влагой, словно пропотевая, то вновь застывал в скользкие полированные спирали, а главное — непрерывно рос и развивался, и, развиваясь, налезал могучими зубьями на соседние образования, — во всем этом, говорю я, чувствовались былые упорство и государственный интеллект полковника Тарасова и какая-то даже внутренняя прямота и задушевность.

Прошу не понять меня превратно и не превратить эти слова в какой-нибудь намек с моей стороны, или обман, или, если хотите, фальсификацию исторического процесса, имеющую задней целью бросить косую тень на наше светлое будущее. «Но позвольте! — воскликнет иной недоверчивый читатель. — Слыханное ли дело, чтобы здоровый человек, да еще в некотором роде государственный деятель выступал на высшей ступени под видом какой-то сосульки? И как же тогда все это следует понимать, и не есть ли это умаление и очернительство?» Нет, не есть, — отвечу я решительно, — и понимать тут ничего не требуется, потому что мне самому пока не вполне понятно, каким образом энергия, управлявшая Тарасовым в его полковничьей жизни, приняла затем такую странную и самобытную форму.

В крайнем случае, во избежание кривотолков, я готов все свои слова взять обратно и рассматривать это диковинное явление как следствие моей личной душевной травмы. Но с другой стороны — с того времени истек достаточный срок, чтобы подойти к вопросу более спокойно и объективно, и я не вижу ничего плохого в том сталактитовом создании, которое, по моему глубокому убеждению, продолжало на новом этапе великую миссию моего шефа и покровителя. И хотя полковник Тарасов давно уволен в запас, так и не получив повышения, обещанный мною титул не был пустозвонством, поскольку я имел в виду более длительную перспективу, превышающую рамки одной человеческой жизни.

Явленная мне тогда титаническая сосулька обладала, я уверен, не менее прогрессивным значением, чем генерал, и даже маршал, и даже если бы у нас был император, она бы, вероятно, и императора превзошла своим умом и развитием, несмотря на отсутствие ярко выраженных знаков воинского достоинства, по которым мы привыкли узнавать наших начальников. Но ведь нужно принять в расчет, что она росла и воспитывалась в совершенно иных, как было



сказано, исторических условиях, на другом, можно думать, планетном шаре, и то, что нам кажется отсюда маловажной сосулькой, там, быть, может, и есть самый настоящий венец творения. Во всяком случае, будущее полковника Тарасова мне представлялось тогда в высшей степени светлым и перспективным, и я не мог отвести взгляда от его гладкой льдистой поверхности, покрываемой еже-секундно новыми напластованиями...

— Ты чего глаза вылупил? — сказал полковник со своим всегдашним народным юмором.

И как только он произнес эту фразу, сосулька исчезла, будто растаяла или провалилась под стол, и на ее месте, за чернильным прибором, отчетливо выступила грузная мужская фигура, сидящая напротив меня в своем обычном виде. Нет, не в обычном! В том-то и дело, что полковник как-то сразу выщвел, осунулся, словно он, выказав в сосулке все свои силовые возможности, внезапно иссяк и постарел на несколько лет. Я бы даже сказал, что он сделался неузнаваем: пожилой измученный человек в засаленном кителе с вытертыми обшлагами, кое-где оборванными и подправленными неумелой иглой.

Да ведь у него, наверное, где-нибудь есть жена и дети, — подумал я с изумлением, потому что раньше мне никогда в голову не приходило подумать о семейной жизни полковника Тарасова, целиком, казалось, поглощенного общественными заботами. Но мое изумление еще более выросло, когда, попытавшись решить этот простой вопрос, я не смог представить явственно ни жены, ни детей Тарасова, ставшего для меня в один миг какой-то неразрешимой загадкой, хотя она так и лезла наружу всеми своими морщинками, обдряблостями, обшлагами.

— Чего ты на меня все смотришь и смотришь? — сказал полковник недовольным голосом, поеживаясь, как от озноба.

— Скажите, полковник, у вас были когда-нибудь — жена, дети? — спросил я его, чтобы что-нибудь спросить.

Он не успел ответить. Влетевший лейтенант доложил, что полковника срочно просят подойти к телефону. Они быстро ушли, оба чем-то взволнованные, даже позабыв запереть за собою стальную дверь.

При других обстоятельствах я бы мысленно устремился за ними и раньше них был бы в курсе всех секретов. Но сейчас моя голова работала вяло и была как-то пуста, просторна, и мне решительно ничего не хотелось делать. Перегруженный информацией, которая непрерывно поступала ко мне с разных сторон, я слишком много думал все это время и думал достаточно густо и напряженно, чтобы теперь хоть чуточку посидеть в тишине.

И я сидел и оглядывал служебное помещение, наполненное, еще недавно казалось, таким дорогим убранством, а теперь, тоже заметно потускневшее и поскучевшее. Всюду вылезли дырки, соринки, следы сапог, реквизиций, утлая тумбочка из фанеры, диванчик на курьих ножках, под красное дерево, драный, просаленный, с отпечатками пальцев на спинке, с отломанным наполовину, латунным изображением какой-то барышни со стершимся носом — вся та микро-

скопическая грязнота и мерзость людского быта, которая говорит лишь о долговременном человеческом запустении...

И сейчас все эти выступившие детали ничего мне особенного не говорили, а, глядя на какую-нибудь соринку, из которой прежде извлеклось бы столько страшных историй, я попросту думал: «А вот и соринка, ну и Бог с ней, лети себе дальше, соринка...»

Когда полковник вернулся и, путаясь в выражениях, объявил о смерти Наташи, я спросил только, давно ли это случилось.

— Четверть часа назад, — сказал полковник и передал вкратце все, что сумел узнать по телефону от своего дежурного контролера. Он, контролер этот, говоря попросту, — сыщик, сопровождал Наташу на некоторой дистанции и зарегистрировал по хронометру прямое попадание, ровно в 10 утра, минута в минуту.

Полковник был явно чем-то обескуражен и, словно желая загладить свою вину, громко бранил высокие инстанции, которые были предупреждены, но почему-то не сработали вовремя, как это им надлежало сделать. Я плохо его слушал. Мне хотелось вернуться назад, к сосульке, не к той, что убила Наташу, а к другой, которая обещала вырасти, может быть, через миллион лет после нас. Не знаю, что мною руководило — скорее всего запоздалое желание выяснить скрытую природу этого человека, такого жалкого, несчастного и загадочного в своем несчастье. Я помнил еще, что он умеет быть грозным и твердым, как та сосулька, но не мог представить себе, как это бывает, и что вообще бывало и будет в жизни этого престарелого мешковатого военного с морщинистым лицом и вытертыми обшлагами. Он весь не вытанцовывался у меня, он рассыпался на мелочи — какие-то пуговицы, морщинки...

— Что вы на меня смотрите?! — заорал Тарасов и хватил кулаком по столу. — Вы думаете — я вру?.. Вы же сами лучше меня знаете — я не мог, не мог ничего сделать... Можете сами убедиться. Я не виноват. Завтра мы займемся...

— Нет, полковник, завтра мы ничем не займемся, — сказал я, отводя глаза от его неуловимых морщинок. — К сожалению, я больше не смогу быть вам полезен. Примерно четверть часа назад все мои ясновидческие качества куда-то провалились. Я даже не знаю; была ли у вас когда-нибудь жена, полковник. Я ничего не знаю теперь. Все кончилось...

## Заключение

Вот и кончена моя повесть, и мне остается в конце лишь прибавить некоторые разъяснения, не уместившиеся в начале и в середине, но полезные, быть может, моим читателям, которые бы захотели все правильно осознать и хорошо почувствовать. Однако — кто такие мои читатели? и к кому я, собственно говоря, обращаюсь и на кого уповаю в своем художественном изыскании? Мне кажется: главным образом — это я сам. Во-первых, когда пишешь, то ведь неволь-

но читаешь и перечитываешь написанное, и вот, слава Богу, один читатель уже нашелся.

— Но помилуйте, — возразят мне другие, — не для себя же вы так стараетесь, и сидите по ночам, и не спите, и тратите последние силы?

— Для себя, — скажу я им честно и откровенно. — Но только — не для такого, какой я есть в настоящий момент, а для такого, каким я буду когда-нибудь. Значит, и все прочие, временные читатели, если пожелают, могут ко мне с легкостью присоединиться. Ибо никому неизвестно — кто из нас кем был и будет. Может, вот вы, именно вы и есть — я? Поэтому пока приходится иметь дело со всеми, а там посмотрим.

Ведь что же происходит? Живет человек, живет и вдруг — бац! — и нет его больше, а вместо него по тому же месту ходят другие люди и в свою очередь предаются бессмысленному уничтожению. Только и слышно кругом: бац! бац! бац!

Что делать? Как с этим бороться? Вот тут и приходит на помощь — всемирная литература. Я уверен: большая часть книг — это письма, брошенные в будущее с напоминанием о случившемся. Письма до востребования, за неимением точного адреса. Попытки задним числом восстановить отношения с самим собой и со своими бывшими родственниками и друзьями, которые живут и не помнят, что они — пропавшие без вести.

Пропал человек, ищи-свищи. Распался на составные части, потерялся в толчее и не видно его нисколько. Собрать всех надо, созвать. Ау! Василий! Ау! ау! Наташа! Где вы — Грета? Степан Алексеевич? — куда вы все подевались? Эй! Хлодвиг! Леонардо да Винчи! — отзовитесь!

Никто не отзывается... Пусто вокруг, словно все вымерло, словно и не было никогда тех удивительных трех недель, вместивших больше, чем смог выдержать мой слабый мозг.

...Выпустили меня из тюрьмы через год и четыре месяца. Полковник Тарасов долго бился, пытаясь вернуть мою утраченную чувствительность. Он даже стрелял в меня холостыми патронами, предполагая саботаж. Но это не помогало.

Тогда меня свезли в пансион закрытого типа и восемь месяцев лечили. Я начал ходить.

Причина моей болезни коренилась в неуверенности. Я боялся передвигать ноги: вдруг поскользнусь. Мне, приученному все знать заранее, было нелегко вернуться к нормальной жизни, полной неожиданностей. Подойдет, бывало, доктор в колпаке, а у меня пульс подскакивает при одном приближении. Ведь ничего же неизвестно: вдруг этот доктор вместо пульса даст по морде? Кто знает, что у него на уме?

Затем — снова полковник. Но драться он перестал и был мрачен. Ему за меня влетело: слишком долго возился с явным шарлатаном и поддался антинаучной гипотезе. Коньяки, выпитые со мною за казенный счет, ему тоже припомнили. Всюду есть свои завистники. Да и времена изменились. Шел 1953-й год: всеобщее ослабление. На его служебной карьере стоял крест.

Однако расстались мы друзьями. Полковник просил известить в случае возобновления моей провидческой силы. Также мне было предложено дать письменное обязательство не заниматься частным образом магией и волшебством. Я охотно согласился на все условия.

В столице мне жить возбранялось. Устроился в провинции, за Ярославлем, анахоретом, в должности гидротехника. В два года сколотил нужную сумму — полторы тысячи — и отослал Борису.

Перевод пришел обратно. Навел справки. Оказалось, за это время Борис успел заболеть и в феврале 54-го года умер с туберкулезным диагнозом. Кто бы мог подумать! При нашей последней беседе я не подозревал, что выступаю оракулом. Но даже это вранье из моих уст — сбылось...

Теперь я оплакивал издали его раннюю смерть. Все-таки старый знакомый. Могли бы когда-нибудь встретиться, поговорить о Наташе... Конечно, он был причастен и косвенно повинен... Если бы он не донес тогда, все вышло бы по-другому. Но кто из нас не причастен и не повинен?..

Пару раз я побывал в Москве: искал Андрюшу. Безуспешно. Должно быть, с тех пор он сильно вырос. Сейчас, наверное, я бы в Андрюше не узнал родного отца. Не того отца, который появится позднее, во сне, в связи с Василием, а настоящего, здешнего, моего основного папу. Он умер, когда мне было пять лет. Его тоже звали Андреем... Ах да, я забыл сказать, как это получилось. Это было еще тогда, при Наташе, когда мы жили в Москве. Я шел к Борису за деньгами, и по дороге мне попался двухгодовалый мальчик под охраной няньки. Что-то в нем меня задержало, и, присев на корточки, я спросил, как его звать.

— Андрюша! — ответил он с детской непосредственностью. Но его голубые глаза говорили о большем. Та же самая голубая насмешливая глубина, что склонялась надо мной во дни младенчества. Мудрый взгляд старшего друга, знающего цену вещам. Мне даже показалось, что он подмигивает.

— Папочка! — зашептал я, чтобы нянька не слышала. — Милый папочка! Как ты поживаешь? Хорошо ли тебе в твоих новых условиях?..

Андрюша не успел ответить: нянька — темная баба — схватила его на руки и поспешно унесла от меня свое сокровище. Все же по костюмчику и здоровой упитанности я мог догадаться, что ему живется неплохо. Безусловно — он попал к состоятельным, культурным родителям. Но больше мы с ним так и не увидались.

А еще, совсем недавно, в Ярославле, в привокзальном буфете, мне встретился тот самый летчик, с которым я познакомился за Новым годом.

— Сволочь ты, а не предсказатель! Шпион! Жулик! — говорил он, обливаясь пьяными слезами. — Какое ты право имел в чужую жизнь залезать? Ограбил ты меня. Всю молодость искалечил. Не знал бы я ничего — и делу конец. А теперь что? Шестьдесят два денечка мне гулять осталось... Правильно я сосчитал? А?! Правильно?..

Я холодно ответил, что тогда, в новогодие, соврал ему о ракете, которая должна взорваться через пять с половиной лет в районе Тихого океана. На

самом деле никому ничего не известно: может, он завтра взорвется, а может, — никогда.

— А ты сейчас не врешь? Честное слово? — спрашивал он меня с надеждою в голосе. — Или успокоить хочешь? Так ты лучше меня не успокаивай. Ты мне всю правду скажи!..

Он был непоследователен, этот летчик-испытатель, но мне понятны его душевные колебания. Я сам в том далеком, достопамятном январе три недели подряд увиливал от правды, пока она меня не настигла и не доконала. А теперь, избавленный от нее, я мучился неизвестностью и хотел бы узнать всю правду, какой не успел доискаться, и молил Бога о возвращении прекрасного дара, которым я в свое время так плохо распорядился.

Мне бы радоваться тогда своему счастью и узнать поточнее, кем я был и буду в следующие разы, встретимся ли мы с Наташей и поженимся ли мы с нею когда-нибудь и как связать воедино разбросанную по кусочкам жизнь? Но я вместо этого глупо бегал от смерти и боялся ее, как ребенок, и вот она пришла и разделила нас. Нет Наташи, нет Сусанны Ивановны, и Боря тоже умер, и летчику-испытателю осталось совсем немного...

Не помню, чей афоризм: «Мертвые — воскреснут!» Что ж, я не спорю. Воскреснуть-то они воскреснут. Уже сейчас каждый день в родильных домах воскресает масса народу. Но помнят ли они о себе, о нас — когда воскресают? — вот вопрос! Узнаем ли мы в них, в наших беспечных детях, тех, что в прошлые времена приходились нам женами и отцами? А ведь если никто никого не вспомнит и не узнает, значит, — все остается по-прежнему, и смерть разделяет нас перегородками забвения, и допустима ли такая с нашей стороны забывчивость?

Нет! Вы как хотите, а я — покуда все не улучшится и не изменится — я остаюсь с мертвыми. Нельзя бросать человека в этакую нищету, в этакое последнее и окончательное унижение. А что может быть униженнее мертвого человека?..

Я теперь все больше живу воспоминаниями. Цветной бульвар. Наташа. Мои разногласия с Борей. Чудак-человек. Ну чего он со мной не поладил? Полковник Тарасов. Славный, простой человек — полковник Тарасов. Как мы с ним хорошо выпивали. После Наташи я в рот не беру спиртного...

Но чаще другого мне приходят на память два эпизода. Оба они — из будущего. Первый — в больнице, ночью, все спят, и сиделка на табурете, подремывая, поджидает, когда же, в конце концов, я отпущу ее спать. Мне еще долго ждать, и меня мучают угрызения, что я все еще живой, тогда как другие умерли. Бессовестно жить — когда другие умерли. Нечестно, несправедливо. Но у меня не получается...

А потом — наоборот — я стою на балконе и колочусь вместе с бабочками в освещенное окно. Но снова мне никак не удастся проникнуть туда, за прозрачную перегородку, в светлую комнату. Живая Наташа сидит и читает книгу — ту самую, быть может, которую я написал. И я пишу отсюда, пишу, колотясь туда, и не знаю — услышу ли когда-нибудь это тягостное постукивание...

А ты, Наташа, услышишь? Дочитаешь ли ты до конца или бросишь мою повесть где-то на середине, так и не догадавшись, что я был поблизости? Если бы знать! Не знаю, не помню. Надо бы все объяснить. Уточнить. С самого начала. Нет, не сумею. Того и гляди захлопнет. Говорю тебе, Наташа, перед тем, как наступит конец. Подожди одну секунду. Повесть еще не кончена. Я хочу тебе что-то сказать. Последнее, что еще в силах... Наташа, я люблю тебя. Я люблю тебя, Наташа. Я так, я так тебя люблю...

1961

## ПХЕНЦ

### 1

Сегодня снова встретил его в прачечной. Он сделал вид, что не замечает меня, всецело занятый своим грязным бельем.

Сперва шли простыни, которыми здесь пользуются по соображениям гигиены. На одной стороне такой простыни крохотными буквами вышивают слово «ноги». Это придумано для того, чтобы предостеречь: человек не должен касаться губами зараженного места, о которое еще вчера терлись его ступни.

Удар ногою тоже почитается более оскорбительным действием, чем удар рукою, и не только потому, что нога бьет сильнее. Вероятно, в этом неравенстве дает себя знать неизжитое христианство. Нога должна быть греховнее всего остального тела по той простой причине, что она дальше от неба. Лишь к половым частям наблюдается худшее отношение, и тут что-то скрыто.

Потом шли наволочки с темными пролежнями в середине. Потом полотенца, которые в отличие от наволочек быстрее пачкаются по краям, и, наконец, разноцветные комья нательного белья.

В эту минуту он принялся метать свои вещи с такой скоростью, что я не успел их как следует разглядеть. Быть может, он желал соблюсти какой-то секрет, а может, как все люди, стыдился демонстрировать предметы, непосредственно прилегающие к ногам.

Но мне показалось подозрительным то обстоятельство, что он сдает в стирку заношенное белье. Обыкновенные горбуны чистоплотны. Они опасаются своей одеждой вызвать дополнительное отвращение. А этот, вопреки ожиданию, был неряшлив, как будто он — не горбун.

Даже приемщица белья, ко всему привыкшая баба, для которой не в диковинку следы самых редкостных соков, не выдержала и сказала ему довольно-таки громко:

— Что это вы, гражданин, мне в морду тычете? Не умеете спать аккуратно — сами стирайте!

Он молча расплатился и убежал. Я не последовал за ним, чтобы не привлекать чужое внимание.

Дома было обычно. Едва я вошел к себе, появилась Вероника. Она, потупив глаза, предложила вместе поужинать. Мне было не с руки отказывать этой девушке. Она единственная из всей квартиры относится ко мне сносно. Жаль, что ее сочувствие зиждется на сексуальной основе. Сегодня я окончательно мог в том убедиться.

— Как поживает Кострицкая? — спросил я Веронику, стараясь направить беседу в сторону общих врагов.

— Ах, Андрей Казимирович, она опять угрожала.

— В чем дело?

— Да все то же. Свет в ванной комнате и забрызган пол. Кострицкая заявила, что пожалуется управляющему.

Это известие вывело меня из себя. Я меньше других пользуюсь канализацией. В кухню почти не вхожу. Могу я компенсировать кухню за счет ванной комнаты?

— Ну и пусть, — ответил я резко. — Она сама жжет свет киловаттами. А ее дети разбили мою бутылку. Пусть придет управдом.

Но я понимал, что призыв к вмешательству власти был бы с моей стороны чистой воды авантюрой. К чему лишний раз обращать на себя внимание?

— Успокойтесь, Андрей Казимирович, — сказала Вероника. — Все нелады с соседями я беру на себя. Успокойтесь, прошу вас.

Она протянула руку, чтобы потрогать мне лоб. Я успел отшатнуться.

— Нет-нет, здоров и никакой температуры. Давайте ужинать.

На столе дымилась и скверно пахла еда. Меня всегда поражал садизм кулинарии. Будущих цыплят поедают в жидком виде. Свиные внутренности набиваются собственным мясом. Кишка, проглотившая себя и облитая куриными выкидышами, — вот что такое на самом деле яичница с колбасой.

Еще безжалостней поступают с пшеницей: режут, бьют, растирают в пыль. Не потому ли мука и мука разнятся лишь ударением?

— Да вы кушайте, Андрей Казимирович, — уговаривает Вероника. — Не расстраивайтесь, пожалуйста. Всю вину я беру на себя.

А что если человека приготовить тем же порядком? Взять какого-нибудь инженера или писателя, нашпиговать его его же мозгом, а в поджаренную ноздрю вставить фиалку — и подать сослуживцам к обеду? Нет, муки Христа, Яна Гуса и Стеньки Разина — сущая безделица рядом с терзаньями рыбы, выдернутой на крючке из воды. Те по крайней мере ведали — за что.

— Скажите, Андрей Казимирович, вы очень одиноки? — спросила Вероника, внося в комнату чайник.

Пока она ходила за чайником, я вывалил свое блюдо в газетку.

— У вас были друзья, —

она положила сахар,

— дети, —

еще ложка сахару,

— любимая женщина?.. —

и ну размешивать, размешивать.

По всему было заметно, что Вероника волнуется.

— Друзей мне заменяете вы, — начал я осторожно. — А что касается женщин, то вы же видите: я стар и горбат. Стар и горбат, — повторил я с неумолимой настойчивостью.

Я честно желал предотвратить признание: зачем оно мне, когда и без этого трудно? Стоит ли портить наш военный союз против злых соседей, возбуждать к себе повышенный интерес не нашедшей применения девушки?

Чтобы избежать беды, я был готов прикинуться алкоголиком. Или преступником. А, может, лучше умалишенным, педерастом наконец? Но я боялся:



каждое из этих качеств могло придать моей особе опасный, интригующий блеск.

Мне оставалось акцентировать мой горб, возраст и мизерную зарплату, мою тихую профессию счетовода, отнимающую массу времени, и что такому, как я, горбуну под стать соответствующая горбунья, а нормальной красивой женщине нужен симметричный мужчина.

— Нет, вы — слишком благородны, — решила Вероника. — Вы считаете себя калекой и боитесь быть в тягость. Не подумайте, что это жалость с моей стороны. Просто мне нравятся кактусы, а вы похожи на кактус. Вон их сколько расплодилось на вашем подоконнике!

К моей руке притронулись ее горячие пальцы. Я дернулся, как от ожога.

— Вы замерзли, вы больны? — участливо спросила Вероника, озадаченная температурой моего тела.

Это было слишком. Я сослался на мигрень и просил ее покинуть меня.

— До завтра, — сказала Вероника и помахала ручкой, как маленькая. — А завтра вы мне подарите кактус. Непременно.

Эта смиренная девушка говорила со мной тоном главного бухгалтера. Она призналась в любви и требовала воздаяния.

Где это я читал, что влюбленные люди уподобляются покорным рабам? Ничего подобного. Стоит человеку полюбить, и он уже чувствует себя господином, имеющим право распоряжаться теми, кто его недостаточно любит. Как бы мне хотелось, чтобы меня никто не любил!

Оставшись один, взялся поливать кактусы. Я кормил их понемногу из эмалированной кружки — моих горбатеньких деток — и отдыхал.

Было два часа ночи, когда, изнемогая от голода, я прокрался на цыпочках по темному коридору в ванную комнату. Уж там я поужинал на славу!

Очень это трудно кушать один раз в сутки.

## 2

После того вечера прошло две недели. Вероника мне объявила, что за нею ухаживают: один лейтенант и один артист из театра Станиславского. Это ей не мешало оказывать мне предпочтение. Она грозила постричься наголо, с тем чтобы я не смел говорить больше о ее красоте, которой глупо жертвовать ради старика и уроды. Наконец, ей вздумалось шпионить за мной, подстергая по пути в ванную.

— Опрятность украшает горбунов, — таков был мой стереотипный ответ на ее расспросы, почему я часто купаюсь.

На всякий случай я стал закладывать фанеркой матовое стекло между ванной и уборной. Прежде чем раздеться, я всегда проверял запоры. Мне было не по себе при мысли, что меня наблюдают.

Вчера утром я постучался к ней в комнату, чтобы набрать чернил в самописку и продолжить мой нерегулярный дневник. Вероника еще не вставала и, лежа в постели, читала «Четырех мушкетеров».

— Вы опоздаете на лекцию, — сказал я, вежливо поздоровавшись.

Она закрыла книгу и сказала:

— А вы знаете, вся квартира считает меня вашей любовницей.

Я же ничего не сказал, и тогда случилось ужасное. Вероника сверкнула глазами и, откинув одеяло, гневно уставилась на меня всем своим неприкрытым телом:

— Гляньте, Андрей Казимирович, — от чего вы отказались!

Лет пятнадцать назад мне довелось познакомиться с учебником по анатомии. Желая быть в курсе дел, я внимательно изучил все картинки и диаграммы. Затем в Парке культуры и отдыха имени Горького я имел возможность наблюдать купающихся в реке мальчишек. Но видеть живьем раздетую женщину, да еще на близком расстоянии, мне раньше не приходилось.

Повторяю, это — ужасно. Она вся оказалась такого же неестественно-белого цвета, как ее шея, лицо и руки. Спереди болталась пара белых грудей. Я принял их вначале за вторичные руки, ампутированные выше локтя. Но каждая заканчивалась круглой присоской, похожей на кнопку звонка.

А дальше — до самых ног — все свободное место занимал шаровидный живот. Здесь собирается в одну кучу проглоченная за день еда. Нижняя его половина, будто голова, поросла кудрявыми волосами.

Меня издавна волновала проблема пола, играющая первостепенную роль в их умственной и нравственной жизни. Должно быть, в целях безопасности она окутана с древних времен покровом непроницаемой тайны. Даже в учебнике по анатомии об этом предмете ничего не говорится или сказано туманно и вскользь, так, чтобы не догадались.

И теперь, поборов оторопь, я решил воспользоваться моментом и заглянул туда, где — как написано в учебнике — помещается детородный аппарат, выстреливающий наподобие катапульти уже готовых младенцев.

Там я мельком увидел что-то похожее на лицо человека. Только это, как мне показалось, было не женское, а мужское лицо, пожилое, небритое, с оскаленными зубами.

Голодный злой мужчина обитал у нее между ног. Вероятно, он храпел по ночам и сквернословил от скуки. Должно быть, отсюда происходит двуличие женской природы, про которое метко сказал поэт Лермонтов: «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла».

Я не успел разобраться в этом предмете, потому что Вероника вдруг встрепенулась и сказала:

— Ну!

Она закрывала глаза и открывала рот, напоминая рыбу, вытянутую из воды. Она билась на постели — большая белая рыба — беспомощно и безрезультатно, а ее тело тем временем покрывалось голубыми пупырышками.

— Простите, Вероника Григорьевна, — сказал я, робея. — Простите, — сказал я. — Но мне пора на службу.

И стараясь не топтать и не оглядываться, я удалился.

На улице шел дождь, а я не спешил: в нашем учреждении был санитарный день. А я, освобожденный от Вероники, под видом государственной службы (сметы, никотин, главный бухгалтер Зыков, обезумевшие машинистки — за все 650 рублей в месяц), я мог позволить себе такую роскошь, как прогулка по свежему воздуху в сырую погоду.

Я выбрал дырявый водосток и подставил себя под струю. Она текла прямо за воротник — прохладная и вкусная, — и через какие-нибудь три минуты я был достаточно мокр.

Но прохожие, спешащие мимо, сплошь в зонтиках и в микропористых подметках, искоса поглядывали на меня, заинтересованные этим поступком. Мне пришлось изменить позицию и прогуливаться по лужам. Мои ботинки хорошо промокали. Хотя бы снизу я имел удовольствие.

— Ах, Вероника, Вероника, — повторял я, негодуя. — Зачем вы были так жестоки, что полюбили меня? Зачем вы чуточку не постыдились своего внешнего вида и вели себя столь откровенно, столь беспардонно?

Ведь стыд у человека основное достоинство. Это смутная догадка о собственной неисправимой наружности, инстинктивный страх перед тем, что скрыто у него под сукном. Только стыд и еще раз стыд может их несколько облагородить и сделать если не прекраснее, то скромнее.

Конечно, попав сюда, я следовал общей моде. Блуди законы той страны, в которой вынужден жить. К тому же постоянная опасность быть пойманным и уличенным заставляла меня натягивать поверх тела все эти маскарадные тряпки.

Но будь я на их месте, я не только бы из костюма, я бы из шубы не вылезал ни днем, ни ночью. Я бы сделал себе пластическую операцию, чтобы ноги покорооче и хоть горб на спине. Горбуны здесь все-таки приличнее остальных, хотя тоже уроды.

В грустном настроении пошел я на улицу Герцена. Против консерватории снимал комнату в полуподвале тот самый горбун. Уже полтора месяца он был у меня на примете — грациозный, изогнутый, непохожий на человека и чем-то напоминающий мне мою невозвратимую юность.

Три раза подряд я видел его в прачечной и один раз в цветочном магазине, когда покупал кактус. По бельевой квитанции, которую он предъявлял, мне повеселилось узнать его домашний адрес.

Наступило время поставить точку над *i*.

Я говорил себе, что этого быть не может, что все погибли и лишь я один уцелел наподобие Робинзона Крузо. Я же сам, своими руками ликвидировал все, что осталось после аварии, и других кроме меня здесь нет.

А вдруг он послан за мной? И под видом горбуна, скрываясь... Проявили заботу! Спихватились, пустились на розыски!

Откуда им знать? Через тридцать два года? Даром что по местному времени. Живой и здоровый. Не фунт изюма.

Но почему же сюда? Вот именно. Никто не собирался. Совсем с другой стороны. Так не бывает. Сбились с пути. Куды Макар не гонял. Семь с половиной. Вот и влопались.

Ну, а если случайно? Такой же в точности ляпсус. Уклоняясь от курса и зимнего расписания. Первое что попало. Бывают же совпадения? Тютелька в тютельку. Нога не ступала. Ну, мало ли? Под видом горбуна. Одинаковый. Хотя бы один — одинаковый.

Дверь отворила дама, похожая на Кострицкую. Но его Кострицкая была крупнее и старше. От нее исходил удештеренный запах сирени. Это были духи.

— Леопольд скоро вернется. Проходите, пожалуйста.

Из глубины коридора лаяла невидимая собака. Но броситься на меня не решалась. Но я уже имел неприятности с этим видом животных.

— Что вы! Она не кусается. Никса — тубо, сиянс!

Пока мы вежливо препирались, а животное все свирепело, из боковых дверей возникло три головы. Они разглядывали меня с интересом и поносили собаку. Получился ужасный шум.

В комнате, куда я с большим риском проник, имелся один малолетний ребенок, вооруженный саблей. При виде нас он потребовал клюкву в сахаре и громко заревел, гримасничая и вертя поясницей.

— Сладена. Весь в меня, — пояснила Кострицкая. — Будешь канючить — дядя тебя съест.

Чтобы сделать хозяйке приятное, я сказал шутливо, что пью вместо супа подогретую детскую кровь. Ребенок моментально стих, бросил саблю и забился в дальний угол, не сводя с меня глаз, полных звериного страха.

— Похож на Леопольда? — спросила Кострицкая как бы невзначай, но с хриплой нежностью в голосе.

Я сделал вид, что верю ее намекам.

Меня качало от спертого воздуха, приправленного парами сирени. Кожа, раздраженная запахом, в нескольких местах воспалилась. Была опасность, что у меня на лице проступят зеленые пятна.

А в коридоре злобная Никса гремела по паркету когтями и принюхивалась к моим следам, звонко щелкая носом. Возбужденные жилички переговаривались между собой полусшепотом, не подозревая о моей повышенной акустической восприимчивости.

— Видать, брат Леопольду Сергеичу...

— Нет, вы напрасно, наш горбунчик рядом с этим просто вылитый Пушкин.

— Не приведи Господи, приснится такое ночью...

— На него даже смотреть неудобно...

Все это было прервано появлением Леопольда. Помню, мне понравилось, как он — с места в карьер — повел свою роль, классическую роль горбуна, встретившего в присутствии посторонних лиц себе подобного монстра.

— А! Коллега по несчастью! С кем имею честь? Чему обязан?..

То была имитация тончайшей психологической паутины — гордости, защищенной глумлением, и стыда, прикрытого балаганом. Он садился на стулья, как всадник, обхватив донце ногами, вскакивал, снова садился — задом наперед, и положив голову на спинку стула, корчил дикие рожи и беспрерывно двигал плечами, будто щупал свой горб, возвышавшийся над ним, как рюкзак.

— Так-так, Андрей Казимирович, значит. А меня, как это ни смешно, зовут Леопольдом Сергеевичем. И я, как видите, тоже слегка горбоват.

Меня восхищала его игра в утрированного человека, это искусство, тем более похожее на правду, чем оно было нелепее, и я с тихой грустью сознавал его жизненное превосходство и свое неумение войти, подобно ему, в единственно возможную для нас на земле форму — форму горбатых уродов и уязвленных самолюбцев.

Но дело делом, и я дал понять, что желаю беседовать конфиденциально.

— Мне нетрудно уйти, — обиженно сказала Кострицкая и вышла, обдав меня на прощанье жгучим своим ароматом.

Я же подумал ей в отместку, что она пропитана этим запахом до самого позвоночника. Даже экскременты у нее пахнут духами, а не вареным картофелем и домашним уютом, как это обыкновенно бывает. А мочится она чистейшим одеколоном, и в такой обстановке бедный Леопольд скоро завянет.

— Вы давно оттуда? — спросил я напрямик, когда мы остались одни и только оцепенелый ребенок сидел в дальнем углу с тупым загадочным взглядом, изображающим ужас.

— Откуда — оттуда? — уклонился он от ответа.

Вместе с уходом хозяйки его наигранную веселость как рукой сняло. Исчезла вся эта шутовская амбиция, присущая большинству горбунов, которые достаточно умны, чтобы прятать свою спину, и достаточно горды, чтобы от нее не страдать. Но мне казалось, что он еще не пришел в себя и по инерции, с усталым видом продолжает притворяться не тем, кем он был на самом деле.

— Бросьте! — сказал я тихо. — Я узнал вас с первого взгляда. Мы же с вами из одних мест. Так сказать, родственники. ПХЕНЦ! ПХЕНЦ! — напомнил я шепотом священное для нас обоих имя.

— Как вы сказали?.. Знаете, вы мне тоже показались немного знакомы. Где же я мог вас видеть?

Он тер лоб, морщился, кривил губы. Его лицо имело почти человеческую подвижность, и я вновь позавидовал этой поразительной тренировочной технике, хотя осторожные повадки его начинали меня раздражать.

— Ба! — вскричал он, продолжая валять дурака, — вы в системе Главбумсбыта не служили? Там директором — в сорок четвертом — Яков Соломонович Зак. Симпатичный такой еврейчик...

— Никакого Зака я не знаю, — ответил я сухо. — Но я хорошо знаю, что вы, Леопольд Сергеевич, вовсе не Леопольд Сергеевич, и никакой вы не горбун, хоть тычете всюду свой горб. И вообще, довольно кривляний. В конце концов я ничуть не меньше рискую, чем рискуете вы.

Он буквально осатанел:

— Как вы смеете, — говорит, — мне указывать, кто я такой? Испортить мои отношения с хозяйкой, да еще грубить! Да вы найдите, — говорит, — сначала такую роскошную женщину, а потом рассуждайте о моем физическом недостатке. Вы — горбатее меня. Слышите? Вы — еще гнуснее. Урод! Горбун! Калека несчастный!

Вдруг он рассмеялся и хлопнул себя по макушке:

— Вспомнил! Я вас видал в прачечной. Мы с вами только тем и похожи, что сдаем белье в одну общую стирку.

На этот раз я поверил в его искренность. Нет, он действительно мнил себя Леопольдом Сергеевичем. Он слишком вошел в роль, одичал, очеловечился, чересчур уподобился окружающей обстановке и поддался чужому влиянию. Он забыл своё прежнее имя, предал далекую родину и, если ему не помочь, он в два счета погибнет.

Я схватил его за плечи и осторожно потряс. Я тряс его и уговаривал дружески, по-хорошему — вспомнить, понатужиться и вспомнить, вернуться к себе самому. И зачем ему эта источающая ядовитый запах Кострицкая? Даже среди людей скотоложство не пользуется авторитетом. Тем более — измена родине, хоть не по злему умыслу, а по обыкновенной забывчивости...

— ПХЕНЦ! ПХЕНЦ! — твердил я ему и повторял другие слова, какие сам еще помнил.

Вдруг сквозь его бостоновый пиджак до меня донеслась — неизвестно откуда взявшаяся — теплота. Все жарче и жарче делались его плечи, такие же горячие, как рука Вероники, как тысячи других горячих рук, с которыми я предпочитал не здороваться за руку.

— Простите, — сказал я и разжал пальцы. — Мне кажется, вышла ошибка. Досадное недоразумение. Я, видите ли, — как бы вам это объяснить? — подвержен нервным припадкам...

Тут я услышал страшный грохот и обернулся. Позади, на почтительном расстоянии, скакал ребенок, угрожая саблей.

— Пусти Леопольда! — кричал он. — Эй ты! Пусти Леопольда! Его моя мама любит. Он — мой папа, мой, а не твой Леопольд!

Сомнений быть не могло. Я обознался. Это был человек, самый нормальный человек, хоть и горбатый.

### 3

С каждым днем мне становится хуже. Наступила зима — холоднейшее время года в этой части света. Не вылезая из дома.

Все-таки грех жаловаться. После ноябрьских праздников я вышел на пенсию. Маловато, но так спокойнее. А то — что бы я делал во время последней болезни? Бегать на службу у меня не хватило бы сил, а доставать бюллетень —

хлопотно и опасно. Не подвергаться же на старости лет медицинскому освидетельствованию? Это бы меня погубило.

Иногда задаю себе один коварный вопрос: почему бы мне в конце концов не легализовать свое положение? Зачем тридцать лет, как преступник, я выдавал себя за другого? Андрей Казимирович Сушинский. Полуполяк, полурусский. 61 год. Инвалид. Беспартийный. Холост. Родственников и детей не имеет. За границей никогда не бывал. Родился в Иркутске. Отец — мелкий служащий. Мать — домохозяйка. Умерли от холеры в 1901 году. Всё!

А что если пойти в милицию, извиниться, рассказать попросту и по порядку, объяснить?

Так, мол, и так. Сами видите — существо из другого мира. Не из Африки, не из Индии и даже не с Марса или какой-нибудь вашей Венеры, а еще дальше, еще недоступнее. У вас даже названий таких нет, да и я сам — разложите передо мною все имеющиеся в наличии звездные карты и планы — не найду, честное слово, не найду, куда же задевалась та великолепная точка, из которой я родом.

Во-первых, не специалист я в астрономическом деле. Ехал — пока везли. Во-вторых, совсем иная картина, и не узнать мне родимого неба по вашим книгам-бумагам. Я и сейчас — выйду ночью на улицу, подыму голову и вижу: опять не то! И в каком направлении мне надо грустить, тоже неизвестно. Может, отсюда не видать не только моей земли, но и моего солнца. Может, оно по ту сторону Галактики числится. Не разобрать!

Не подумайте, пожалуйста, что я прибыл сюда с какой-нибудь задней целью. Переселение народов, борьба миров, пятое-десятое. Я вообще не военный, не ученый, не путешественник, и профессия моя — счетовод, здешняя, разумеется, о старой лучше не поминать — все равно ничего не пойдем.

И лететь мы ни в какие пространства не собирались, а просто ехали, выражаясь примитивно, на курорт. А по дороге — происшествие, ну, скажем, метеорит, чтобы было доступнее, ну, падаем, лишены поддержки, неизвестно куда, падаем семь с половиной месяцев — только не ваших месяцев, а наших — и в силу чистой случайности попадаем сюда.

Очнулся, гляжу — попутчики мои погибли. Похоронил их, как положено, и начал приспособляться.

А вокруг — экзотика, невнятица. В небе луна горит, большущая, желтая, но зато в единственном числе. Воздух — не тот, свет — не тот, тяготение всякое, давление тоже не очень соответствуют. Да что говорить! Какая-нибудь элементарная елка в моем нездешнем восприятии — все равно что для вас — дикобраз.

Куда деваться? Пить-есть надо. Конечно — не человек, не зверь, и, пожалуй, склонен скорее всего — из того, что у вас имеется, — к растительному царству, но тоже обладаю своими первичными потребностями. Мне, в первую очередь, вода нужна, за неимением лучшей влаги, и желательно — определенной температуры, да чтоб к воде — время от времени — недостающие соли. К тому же чувствую в окружающей атмосфере возрастающее похолодание. А вы сами знаете, какие в Сибири морозы.

Делать нечего, пришлось мне леса покинуть. Я уже к людям из кустиков несколько дней присматривался. Сразу понял, что разумные твари, но боялся в первый момент, что съедят. Задрапировался кое-какими тряпками (тогда и состоялась моя первая кража, извинительная в создавшейся ситуации) и выхожу из кустиков с приветливым видом.

Якуты — народ гостеприимный, доверчивый. У них я и освоил простейшие человеческие навыки, а потом перебрался в более цивилизованные края. Изучил язык, постиг науки, преподавал арифметику в средней школе города Иркутска. Одно время в Крыму обитал, но вскоре уехал оттуда по климатическим причинам: летом припекает излишне, а зимой — недостаточно, и все равно нужна квартира с паровым отоплением. А эти удобства в 20-е годы были там в редкость и стоили большие деньги — не по карману. Вот и поселился в Москве... Вот и живу...

Кому угодно рассказывай эту печальную повесть, в самой что ни на есть популярной форме — ведь не поверят, ни за что не поверят. Если б я хоть плакать мог по мере своего рассказа, а то смеяться кое-как научился, а плакать — не умею. Сочтут безумцем, фантазером, да еще к судебной ответственности могут привлечь: фальшивый паспорт. Подделка подписей и печатей и прочие незаконные действия.

А если даже — вопреки рассудку — поверят, — будет еще хуже.

Съедутся со всех концов академической науки — астрономы, агрономы, физики, экономисты, геологи, филологи, психологи, биологи, микробиологи, химики и биохимики, изучат до последнего пятнышка, ничего не забудут. И все только спрашивают, выпытывают, рассматривают, извлекают.

В миллионных тиражах разойдутся обо мне диссертации, кинофильмы и поэмы. Дамы станут красить губы зеленой помадой и заказывать шляпки в виде кактуса или по крайней мере фикуса. И все горбуны — несколько лет — будут пользоваться у женщин колоссальным успехом.

Названием моей родины назовут автомобильные марки, а моим именем — сотни новорожденных младенцев, не говоря уже об улицах и собаках. Я стану известен, как Лев Толстой, как Гулливер и Геркулес. И Галилео Галилей.

Но при всем этом общенародном внимании к моей скромной особе никто ничего не поймет. Как же понять меня им, если сам я на их языке никак не могу выразить свою бесчеловечную сущность. Все верчусь вокруг да около и метафорами пробавляюсь, а как дойдет дело до главного — смолкаю. И только вижу плотное, низкое — ГОГРЫ, слышу быстрое — ВЗГЛЯГУ и неопишимо прекрасное ПХЕНЦ осеняет мой ствол. Все меньше и меньше этих слов остается в увядающей памяти. Звуками человеческой речи лишь приблизительно можно передать их конструкцию. И если обступят лингвисты и спросят, что это такое, я скажу только: ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП и разведу руками.

Нет, уж лучше буду влачить одинокое инкогнито. Раз появился такой специфический, так и существуй незаметно. И незаметно умри.

А то, когда я умру, — а я скоро умру, — они заспиртуют меня в большую стеклянную банку и выставят на обозрение в зоологическом музее. И проходя



вереницами, начнут содрогаться от страха и, чтоб подбодрить себя, станут смеяться нахально, оттопыривать брезгливые губы: «Ах, какой ненормальный, какой некрасивый ублюдок!»

А я не ублюдок! Если просто другой, так уж сразу ругаться? Нечего своими уродствами измерять мою красоту. Я красивее вас и нормальнее. И всякий раз как гляжу на себя, наглядно в том убеждаюсь.

Перед тем, как мне заболеть, сломалась ванна. Я узнал о несчастье поздно вечером и понял, что это Кострицкая, чтобы мне досадить. От бедной Вероники помощи не ожидалось. Вероника обиделась на меня после того инцидента, когда она предложила самое лучшее, с человеческой точки зрения, что у нее в запасе имелось, а я вместо этого пошел гулять.

Теперь — сквозь стенку — до меня иногда долетали ее воздушные поцелуи с одним актером из театра Станиславского, с которым они поженились. Я был искренне рад за нее и даже послал к свадьбе, анонимный торт за 16 рублей с ее инициалами и вензелями, выполненными шоколадом.

Но есть мне хотелось невероятно, а ванну повредила Кострицкая, чтобы меня погубить, и дырку, из которой струится вода, — в ожидании починки — забила деревянной пробкой, и вода не текла. Поэтому, когда все улеглись, и с этажа, что надо мной, и с этажа, что подо мной, а также с боков донесся умеренный храп, я снял с гвоздя Вероникино корыто, которое висит в нашей уборной среди других соседских корыт. Оно гремело, как гром, пока я волок его по коридору, и в нижнем этаже, под полом, кто-то переехал храпеть. Но я довел свой труд до конца, вскипятил чайник на кухне, набрал ведро холодной воды и все это снес к себе в комнату, и заперся на задвижку. А в замочную скважину сунул ключ.

Как приятно скинуть одежды, снять парик, оторвать ушные раковины из настоящей гуттаперчи и отстегнуть ремни, стягивающие спину и грудь. Мое тело раскрылось, точно пальма, принесенная в свернутом виде из магазина. Все члены, затекшие за день, ожили и заиграли.

Я установился в корыте, одной рукою схватил губку, чтобы размазывать воду по всем сухим местам, другой — чайник. А в третью руку взял кружку с холодной водой и, добавив туда кипятку, попробовал оставшейся четвертой рукой, не слишком ли горячо получилось. До чего удобно!

Кожа хорошо всасывала драгоценную жидкость, льющуюся на меня с высоты из эмалированной кружки, и, утолив первый голод, я решил осмотреть себя повнимательнее, чтобы смыть нездоровую слизь, выступившую из пор и застывшую кое-где сухими лиловыми сгустками. Правда, мои глаза на руках и ногах, на темени и на затылке начали заметно слабеть, скрытые в дневное время жесткой одеждой и накладной шевелюрой. Один глаз ослеп еще в 34 году, натертый правым ботинком. Было трудно с должной тщательностью произвести осмотр.

Но я вертел головой, не ограничиваясь полукружием — жалкой ставосьмидесятиградусной нормой, опущенной человеческой шее, я заморгал всеми глазами, какие были в сохранности, разгоняя усталость и мрак, и мне удалось

увидеть себя со всех сторон — сразу в нескольких ракурсах. Какое это увлекательное зрелище, к сожалению, теперь доступное мне лишь в редкие ночные часы. Стоит воздеть руку, и видишь себя с потолка, так сказать, возвышаясь и свешиваясь над собою. И в то же самое время — остальными глазами — не упускать из виду низ, тыл и перед — все свое ветвистое и раскидистое тело.

Может быть, не живи я на чужбине тридцать два года, мне бы и в голову не пришло любоваться своею внешностью. Но здесь я единственный образчик той утраченной гармонической красоты, что зовется моею родиной. Что же мне делать еще на земле, если не восхищаться собой?

Пусть моя задняя рука скрючилась от постоянной необходимости изображать человеческий горб! Пусть на моей передней руке, искалеченной ремнями, уже отсохло два пальца, а мое старое тело потеряло прежнюю гибкость! Все равно, я красив! пропорционален! изящен! вопреки утверждениям всех завистников и критиканов.

Так рассуждал я, поливая себя из кружки, — в ту ночь, когда Кострицкая задумала меня убить посредством сломанной ванны. А наутро я заболел, должно быть, простудившись в корыте, и началось самое трудное время в моей жизни.

Я лежал полторы недели на своем жестком диване и чувствовал, как высыхаю. У меня не было сил сходить за водой на кухню. Мое тело, туго спеленатое в человекоподобный кулек, онемело и затекло. Засохшая кожа потрескалась. А я не мог приподняться и ослабить путы, острые, будто из проволоки.

Так прошло полторы недели, и никто ко мне не входил.

Я представлял себе, как после моей смерти обрадованные соседи позвонят в поликлинику. Приедет участковый врач констатировать летальный исход, наклонится над диваном, разрежет хирургическими ножницами одежды, бинты и ремни и отпрянет в ужасе от дивана, и велит поскорее доставить мой труп в самый лучший, в самый большой анатомический театр.

Вот она — банка со спиртом, жгучим, как духи Кострицкой! В ядовитую ванну, в стеклянный склеп, в историю, в назидание потомкам — на вечные времена — погружают меня — уroda, наиглавнейшего уroda Земли.

Тогда я застонал, сначала тихо, потом громче, ненавистным и неизбежным человеческим языком. «Мама, мама, мама», — стонал я, подражая интонации плачущего ребенка — в расчете пробудить жалость в том, кто бы меня услышал. И призывая на помощь в течение двух часов, я поклялся, если только выживу, сохранить до конца свою тайну и не дать в руки врагам на растерзание и глумление последний клочок моей родины — мое прекрасное тело.

Вошла Вероника. Она заметно похудела, и взгляд ее, очищенный от любви и обиды, был ясен и равнодушен.

— Воды! — прохрипел я.

— Если вы больны, — сказала Вероника, — вам надо раздеться и смерить температуру. Я вызову врача. Вам поставят банки.

Врач! Банка! Раздеться! Не хватало еще, чтобы она трогала мой лоб, прохладный, как комнатный воздух, и щупала раскаленными пальцами несущее

ствующий пульс! Но, поправляя подушку, Вероника брезгливо отдернула руку, прикоснувшись к моему парику. Должно быть, мое тело возбуждало в ней, как в прочих людях, лишь одно отвращение.

— Воды! Христа ради воды!

— Вам сырой или кипяченой?

Наконец она ушла и вернулась с графином. И протирая запыленный стакан с той задумчивой медлительностью, которую я принял бы за месть с ее стороны, если бы не знал, что она ничего не знает, Вероника сказала:

— Я ведь на самом деле любила вас, Андрей Казимирович. Мне понятно: это была любовь — как бы вам объяснить? — любовь из жалости... Жалость к одинокому искалеченному человеку, простите за откровенность. Но я пожалела вас настолько... не замечать... физические изъяны... Вы мне казались, Андрей Казимирович, самым красивым человеком на земле... самого... человека. И когда вы так жестоко посмеялись... Покончить с собой... Любила... не скрывая, скажу... достойный человек.. Опять полюбила... А теперь даже благодарна... Полюбила... Человека... Человеческим... человечность... как человек человеку...

— Вероника Григорьевна, — перебил я ее, не в силах терпеть более. — Прощу вас. Поскорее. Воды.

— Человек... векочел... чекелов... кеволеч... человек...

— Воды! Воды!

Вероника наполнила стакан и вдруг поднесла его к самому моему рту. Мои вставные зубы стучали о стекло, но я не решался принять эту жидкость внутрь: меня поливать требуется, как цветок или яблоню — сверху, а не через рот.

— Пейте же, пейте! — настаивала Вероника. — Вы же просили воды...

Отбросил, рванулся и, чувствуя, что пропадаю, сел. Вода текла изо рта на диван. Мне удалось поймать несколько капель в подставленную сухую ладонь.

— Дайте графин и уходите, — приказан я со всей твердостью, на какую был способен. — Оставьте меня в покое! Я сам напьюсь.

Из глаз Вероники ползли длинные слезы.

— За что вы меня ненавидите? — спросила она. — Что я вам сделала? Вы сами не приняли моей любви, отказались от жалости... вы просто злой, нехороший, вы очень плохой человек, Андрей Казимирович.

— Вероника! Если еще осталось у вас хоть несколько капель жалости, уходите, прошу вас, умоляю, уходите, оставьте меня одного.

Она вышла, согнувшись. Тогда я растегнул рубашку и сунул графин за пазуху — горлышком вниз.

Беготня и суматоха в природе. Все в нервозе. Торопливо лезут листья. Отрывисто поют воробьи. Дети спешат на экзамены в школы и в техникумы. Голоса няnek на дворе визгливы, истеричны. И воздух — с душком. Повсюду — в небольшой дозировке — растворен запах Кострицкой. Даже кактусы на подокон-

нике по утрам пахнут лимоном. Не забыть — перед отъездом кактусы подарить Веронике.

Боюсь, последняя болезнь меня доконала. Она не только сломила тело, но искалечила душу. Странные желания порой посещают меня. То тянет в кино. То хочется сыграть в шашки с мужем Вероники Григорьевны. Говорят, он отлично играет в шашки и в шахматы.

Перечел свои записки и остался недоволен. Здесь в каждой фразе — влияние чужеродной среды. Кому нужна эта болтовня на местном диалекте? Не забыть и сжечь перед отъездом. Ведь людям, я не собираюсь показывать. А наши все равно не прочтут и ничего обо мне не узнают. Наши и не залетят никогда в такую несусветную даль, в такую дичь.

Мне все труднее становится припоминать прошлое. От родного языка уцелело только несколько слов. Я даже думать разучился по-своему, а не только писать и говорить. Что-то прекрасное — помню, а что именно — сам не знаю.

Иногда мне кажется, что у меня на родине остались дети. Этакие пышные кактусята. Не забыть отдать Веронике. Теперь они, должно быть, большенькие. Вася ходит в школу. Почему в школу? Он — уже взрослый, солидный. Стал инженером. А Маша вышла замуж.

Господи! Господи! Я, кажется, становлюсь человеком!

Нет! Не для того я мучился тридцать два года, не для того страдал зимою без воды на жестком диване. Зачем было выздоравливать, если не с единственной целью: как станет тепло — укрыться в тихое место и умереть без скандала? Только так и можно сберечь, что еще осталось.

Все готово к отъезду: плацкартный билет до Иркутска, бидон для воды, изрядная сумма денег. Почти вся зимняя пенсия на сберкнижке хранится. Не тратился ни на шубу, ни на трамваи-троллейбусы. За все время в кино не был ни разу. А за квартиру бросил платить уже третий месяц. Всего — 1657 рублей.

Послезавтра, когда улягутся, уйду незаметно из дому — в такси — и на вокзал. А там ту-ту! и поминай, как звали. Леса, леса, зеленые, как тело матери, примут и укроют меня.

Уж как-нибудь доберусь. Частично лодку нанять. Примерно 350 километров. А все по реке. Вода под боком. Хоть три раза в день обливайся.

Яма была. Разыщу. Мы яму пробили, когда упали. Обложить дровами. Можжевельник — что порох. Усядусь в яму, развяжусь, распояшусь и стану ждать. И чтоб ни одной человеческой мысли, ни одного слова на чужом наречии.

А как начнутся заморозки и пойму, что время пришло, — одной спички хватит. Ничего не останется.

Но до этого будет долго. Будет много теплых, много добрых ночей. И в летнем небе — много звезд. Какая из них? — неизвестно. Буду на все смотреть — вместе и поочередно — смотреть во все глаза. Какая-нибудь да моя.

О Родина! ПХЕНЦ! ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП! Я иду к тебе. ГОГРЫ! ГОГРЫ! ГОГРЫ! ТУЖЕРОСКИП! ТУЖЕРОСКИП! БОНЖУР! ГУТЕНАБЕНД! ТУЖЕРОСКИП!

БУ-БУ-БУ!  
МЯУ-МЯУ!  
ПХЕНЦ!

1957